

Феномен Ольги Берггольц — это феномен попадания во время, как в яблочко. В блокадном городе были и другие поэты, не меньшего дара. Вообще о Берггольц, да простят меня её поклонники, можно говорить, как о крепком, талантливом поэте, но крупный поэтический дар, равный Ахматовой, Пастернаку, Мандельштаму, Луговскому, Корнилову у неё, конечно же, отсутствовал. А в блокадном Ленинграде, в войсках ленинградского фронта выживали и творили Михаил Дудин, Владимир Лифшиц, Елена Вечтомова. Да что там! Анна Ахматова застала кусок блокады перед эвакуацией в Ташкент. Но Ленинград выбрал Берггольц. Это её тихий голос давал измученным людям надежду, веру, воскрешал из мёртвых, вливал силы в окоченевшие руки и ноги. В чём её магия? В чём секрет? “Блокадная Мадонна”, “наша Оля”, “блокадная муза”... Из автора милых, но малоизвестных детских книжек и сценариев она, сама того не понимая и не желая, стала голосом Города. А Город не ошибается.

Попробуем разобраться в этом чуде.

Ольга Берггольц родилась 18 мая 1910 года, менее, чем через шесть месяцев после свадьбы родителей. Этому, конечно же, было объяснение. Фёдор Христофорович оказался честным молодым человеком и женился на девушке, зачавшей от него ребенка. Он перевёлся из Дерпта в Санкт-Петербург и продолжил обучение в Военно-медицинской академии. Не всё гладко было в их семье. Свекровь травила Марию Тимофеевну: за бедность, за зачатого в грехе ребёнка, просто за то, что она оказалась рядом с её сыном.

Маленькая Оля стала жить в доме Берггольцев на Палевском проспекте. Фёдор Христофорович снова перевёлся в Тартуский университет, а Мария Грустилина, оставив дочь на попечение бабушки и деда, уехала работать в Новгородскую губернию преподавательницей кройки и вышивки. Мария Тимофеевна вновь вернулась под крышу дома Берггольцев, когда забеременела во второй раз. В 1912 году она родила вторую дочь Марию, Мусю. Впоследствии в повести “Дневные звёзды” Ольга Берггольц много возьмёт из тех первых, детских воспоминаний, опишет Заставу, Углич, Петербург, уютный мещанский быт своей патриархальной семьи. И всё это будет вплетено в ткань блокадного города, в ежедневную смерть от голода и холода. И само это ощущение конечности жизни, страсти, взлётов, ежеминутного горения (как перед смертью, как в последний раз) станет центральным мотивом в её творчестве.

В 1914 году отец, окончивший Тартуский университет, был призван на фронт.

“В октябре 1915 года отец побывал дома. Привёз дочерям в подарок немецкую каску, всей семьёй сходили в зоопарк и снялись в фотоателье: Христофор Фридрихович, Ольга Михайловна, Фёдор Христофорович, Мария Тимофеевна, Ольга и Муся.” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 14).

Но вскоре отец снова уехал на фронт и там встретил княжну Варвару Николаевну Бартеневу, работавшую сестрой милосердия. У них возник роман. Мария Тимофеевна догадывалась, что муж не очень-то стремится вернуться к семье, и это стало для неё ударом. Их брак медленно, но верно разрушается.

Революцию маленькая Оля Берггольц вспоминала впоследствии так: “Участок на углу Палевского и Шлиссельбургского проспекта сожгли почему-то не в феврале, а в октябре семнадцатого года, — вспоминала Ольга. — Утром мы ходили с мамой на проспект и видели, как ещё дымились развалины участка, а по Шлиссельбургскому мчались грузовики, в кузове которых, опираясь на ружья, стояли рабочие в кожанках и матросы, крест-накрест опоясанные пулемётными лентами, и ветер раздувал у них на груди огромные красные банты”. (Там же).

В 1918 году, когда жизнь стала особенно тяжёлой, свекровь прямо сказала невестке, что та должна сама искать себе и детям пропитание. Мария Тимофеевна с дочерьми уехала в Углич, где жили её родственники. Об этом периоде жизни у Ольги Берггольц остались самые яркие и светлые детские воспоминания. Несмотря на тяжёлые условия жизни (они поселились в келье Богоявленского монастыря), на недостаток хлеба, маленькая Оля своим непотытным детским сердцем что-то узрела в суровых монастырских стенах, в людях, населявших монастырь, в самом неспешном угличском укладе... Это место было определённно сакральным для всей русской истории. И эту глубинную память (нет, не счастья, но возможности иной судьбы, иного человеческого предназначения, иных временных координат) она сохранила на всю оставшуюся жизнь.

Уже в Углич за ними приехал отец, красный командир, начальник медицинского военного поезда.

“Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посредине кельи, спиной к нашей кровати. Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая её по плечу, говорил негромко:

— Ну, ничего, ничего...

Невероятная догадка озарила меня.

— Муська, — закричала я, — вставай! Война кончилась! Папа приехал!

Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, тёмное и без усиков, а мы знали, что он должен быть с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы почти семь лет — с тех пор, как он ушёл на войну ещё с германским царём Вильгельмом, — знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он — живой.” (Ольга Берггольц. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. — Л.: Художественная литература, 1990. — С. 220)

С отцом Ольге Берггольц пришлось знакомиться практически заново, заново узнавать его, привыкать к этому мужчине. Сложные отношения останутся у них надолго, пока новая война и новые испытания не толкнут их друг к другу, заставляя проснуться дремавший голос родной крови.

Фёдор Христофорович в 1921 году увёз жену и детей обратно в Петроград. Чтобы не попасть под уплотнение, в двухэтажный дом Берггольцев поселилась семья Грустилиных и ещё несколько близких, почти родственных семей. Дедушка Ольга, Христофор Берггольц, был выбран домоуправом. Ольга и Муся пошли в 117-ю школу на Шлиссельбургском проспекте. Оля начинает писать первые детские стихи. Мать трепетно относится к увлечению дочери, всячески поощряет и бережёт каждый исписанный неумелыми строфами листок.

Ольга растёт и взрослеет вместе с молодой республикой Советов, с её подвигами, с её трудностями. Как и сотни тысяч мальчишек и девчонок, чьё детство пришлось на смену эпох, она восторженно приняла новую жизнь,

идеи строительства коммунизма и братства народов. В этом не было карьеризма или подпевания общей линии. Это шло из глубины её души, искренне, с огромной верой в светлое будущее. Дети революции, не видевшие ужасов гражданской войны, смертей, братоубийственной бойни, – только они и могли построить новый светлый мир. А самое главное, они твёрдо знали, что ИМ суждено его построить.

В 1924 году умер Ленин.

“...смерть Ильича была для нашего поколения тем рубежом, с которого мы из детства шагнули прямо в юность, почти миновав ту тревожную, неопределённую пору, которую называют отрочеством... Я написала о том, что только было:

Как у нас гудки сегодня пели!

Точно все заводы

встали на колени.

Ведь они теперь осиротели.

Умер Ленин...

Милый Ленин...

...когда я написала своё самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе... Через два дня он пришёл с работы важный, даже какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий – он совершенно не умел прятать радость, хоть на время прикрывать её важностью или безразличием, ему не терпелось раздать её другим. В то же время он не умел жаловаться на невзгоды – он стыдился, если был несчастен, точно сам был виноват в этом.

– Ну, Лялька, дела обстоят так... – важно начал он и тут же воскликнул, хлопая в ладоши: – Напечатали! Понимаешь, в нашей стенгазете напечатали! Сказали – отлично. Поздравляю. Теперь, пожалуй, ты настоящий поэт: напечатали.

Мне стало ужасно приятно и даже страшно. Я покраснела, выскочила в другую комнату и, закрыв глаза, расставив руки, немножко, но очень быстро покружилась, как тогда, когда была маленькой. Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как моё стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт.” (Ольга Берггольц. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. – Л.: Художественная литература, 1990. – С. 308–312).

С этого момента начинается восторженность и одержимость революцией, жажда подвига, героизма. Ольге хочется броситься на баррикады, как герои Парижской коммуны. Всё это, безусловно, поощрялось в советской системе воспитания, в пионерских и комсомольских организациях, набравших силу и массовость, но напрасно относить эту вовлечённость в советское настоящее только лишь к следствиям пропаганды. Для людей, на глазах которых творилась история, произошла смена вех и начался невиданный за всё время существования человечества эксперимент, слова Ленин, партия, коммуна, труд – не пустой звук. Молодые люди по всей стране вовлекались в процесс даже не строительства коммунизма, но конструирования новой реальности, в которой человек человеку – брат. И эта великая идея захлестнула их с ног до головы, понесла вперёд, навстречу новому будущему, которое просто обязано быть светлым. Не осталась в стороне от этих процессов и Ольга.

Её стихи и очерки появляются в газете “Ленинские искры”. В это же время шестнадцатилетняя Ольга начинает посещать литобъединение для рабочей молодёжи “Смена”. Занятия проходят несколько раз в неделю в Домпросвете, знаменитом Юсуповском дворце. Сюда приходили начинающие поэты Борис Корнилов, Геннадий Гор, Александр Решетов. Руководил “сменовцами” Илья Садофьев, поэт, ныне известный только литературоведам, а тогда – глава Ленинградского отделения Всесоюзного союза поэтов, получивший благосклонную оценку своих стихов от самого Брюсова. Одним из руководителей “сменовцев” был Виссарион Саянов, чьи хулиганские и даже приклатённые стихи были очень популярны в молодёжной среде того времени.

Ольгины же ранние стихи совершенно неотличимы от тысяч девичьих опусов, которые пишутся во все времена молодыми девушками 14-15 лет:

*Я дева белой молочной ночи,
Меня творили Невы напевы,
Гляди смелее, гляди мне в очи,
Ведь я, — не бойся! — ночная дева...*

Скромный талант просвечивает, как можно видеть из приведённого описания, но не более того.

Впрочем, Ольгу в “Смене” запомнили и отметили. В первую очередь, её внешность. Но и стихи с определёнными оговорками были приняты. Ольгу Берггольц зачислили в разряд “подающих надежды” — самый жуткий, страшный и бессмысленный разряд для поэта. В нём можно остаться до конца дней и так никогда и не выбраться в большую литературу. В это же время, в 1926 году, Ольга впервые слышит стихи Бориса Корнилова, одного из самых талантливых поэтов своего времени. Ей суждено будет стать его женой. Ему — её первым мужчиной, отцом её ребёнка. Их брак не продержится долго — слишком разные энергии в них бурлят, каждый из них — личность и поэт, не собирающийся быть подспорьем для второго. Но этот брак и эта первая любовь сыграют ключевую роль в судьбе Ольги Берггольц.

“Смена” входила в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей (ЛАПП), которая, в свою очередь, являлась частью Российской ассоциации (РАПП). Во второй половине 1920-х годов это новое писательское объединение по своему размаху вытеснило все остальные писательские группы и течения. Ольга Берггольц совершенно сознательно и искренне влилась в организацию, претендовавшую на создание нового литературного кода молодой республики Советов. Судьба многих РАППовцев незавидна: РАПП так же, как и ряд других писательских организаций, была расформирована постановлением ЦК ВКП(б) “О перестройке литературно-художественных организаций” от 23 апреля 1932 года, введившим единую организацию — Союз писателей СССР. Впрочем, многие руководители РАПП (А. А. Фадеев, В. П. Ставский) заняли высокие посты в новом Союзе; однако многие другие были в конце 1930-х годов обвинены в троцкистской деятельности, репрессированы и даже расстреляны. И близкое знакомство с руководством РАППа впоследствии сыграло трагическую роль в судьбе Берггольц.

Достаточно извилистым путём складывается её литературная судьба в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Сначала приехавший из Москвы один из руководителей РАППа Юрий Либединский исключает её из организации за незнание жизни рабочего класса. Затем он же советует ей через некоторое время подать заявление на восстановление. Ольга восстанавливается в организации. Параллельно ищет знакомства с известными писателями и литературными начальниками: посещает квартиру Анны Ахматовой, читает ей свои стихи; тесно общается с Либединским; знакомится с Леонидом Авербахом, с которым у неё завязывается лёгкий роман. Ольга ведёт богемно-советскую жизнь, если можно так выразиться. Не чуждается бюрократических, аппаратных и откровенно заказных статей, посещает “правильные компании”, то здесь мелькнёт, то там её заметят, обмолвятся, порекомендуют. В её защиту следует добавить, что это был естественный образ жизни для молодого литератора советской эпохи. Подобное поведение не вызывало осуждения. Всё было в рамках заданных правил игры. К слову, ничего не изменилось в нашей действительности с тех пор. Разве что сменился вектор “правильных” компаний, организаций и площадок для публикации.

В 1928 году она выходит замуж за поэта Бориса Корнилова. Ольга вспоминала о начале их отношений: “В литгруппе “Смена” в меня влюбился один молодой поэт, Борис К. Он был некрасив, невысок ростом, малокультурен, но стихийно, органически талантлив... Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы — М.: АСТ, 2017. — С. 25)

И ещё: “Борис, весь содрогавшийся от страсти, сжав и целуя меня, шептал: “Моя?.. Моя?.. Хочешь быть моей? Только моей, а я — только твоим? ...? И я сказала: “Да, хочу” <...> а он, впившись мне в губы, рукой так терзал грудь, что я кричала и выбивалась, но он был совсем, как зверь...” (Там же)

Чутьё не обмануло Ольгу. Корнилов был действительно одним из самых талантливых поэтов своего поколения. Их брак продлился всего два года, был тяжёлым, изматывающим для обоих. Борис ревновал и много пил. Ольга не желала жертвовать молодостью и талантом ради мужа; роль “подруги поэта” её не устраивала. Она сама строила свою биографию, если не равно-великую, то совершенно точно самостоятельную. Сохранилась их совместная фотография: Ольга словно выглядывает из снимка, подаётся вперёд и смело, с некоторым вызовом смотрит на мир, а Корнилов, наоборот, со своим узнаваемым, чуть приспущенным правым веком говорит всем своим видом: суета сует, копошеньё и детский лепет... Пусть такими они и останутся в нашей памяти.

Берггольц ищет собственный голос. В её ученических тетрадях, наряду со стихами собственного сочинения, обильные выписки с цитатами Блока, Некрасова, Пушкина, Пастернака, Гумилёва, Ахматовой, А. Белого, Асеева, Уитмена, Верхарна. Из прозаиков – цитаты Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, Леонова, Эренбурга, Федина.

До конца 1930-х годов в стихах Ольги Берггольц легко видится влияние старших поэтов: Есенин (стихотворение “Предчувствие”, “Не жалея ты меня, не жалея...”) и Ахматова (“Осень 1927 года”, “Хоть что-нибудь придумать...”), Маяковский (например, “Среда”) и Блок (“Как я часто удивлялась”), да и другие, менее значительные поэты (например, М. Шефер, стихотворение которого “Война”, опубликованное в 3-м номере “Резца” за 1927 год, перекликается с “Войной” Берггольц). Впрочем, для любого большого поэта этап заимствования неизбежен. “Воруя” у великих, писатель и поэт растёт сам, ищет свой путь, набирает голос.

В 1928 году у Ольги Берггольц родилась первая дочь Ирина. Забегая вперёд, скажем, что счастье материнства будет пронзительным и недолгим в её судьбе и станет определённой вехой, этапом, после которого перед нами предстанет совершенно другая Берггольц: с искалеченной душой, разбитым, выжженным нутром и взятой новой поэтической высотой. Потому что, хорошо это или плохо, но поэт за свои строчки платит всей жизнью, всей судьбой, всем своим существом. Только тогда эти строчки набирают вес и будоражат сердца людей.

Дикая, разнужданная сила Бориса Корнилова, ярко выраженное грубое, мужское начало в какой-то момент становятся невыносимыми для Ольги. В 1929 году его исключают из комсомола. Корнилов много пьёт, ударяется в загулы. А Ольга совершенно осознанно выбирает свою дорогу вместе с партией, с РАППом. Само время всё дальше разводит их друг от друга.

Юрий Либединский, ухаживавший в это время за Марией Берггольц, писал ей 25 февраля 1930 года: “Я недоволен, что Борис и Ольга помирились. И ты не дружи с Борисом. Бывают люди, которых нужно, чтобы они были хорошие, – ласкать. А бывают – которых надо бить. Он принадлежит ко вторым. Кстати, я это понял благодаря тебе, благодаря твоим рассказам о нём. Надо, чтобы ему стало плохо, тогда он поймёт, чем может быть для него Ольга и чем – он сам. Мне кажется, что в интересах Оли – да и, пожалуй, Бориса, – чтоб они не мирились. Ну, впрочем, это их семейные дела”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 26)

Память об этой любви-страсти, любви-уничтожении надолго останется в сердце у обоих поэтов. Корнилов в поэме “Моя Африка” так будет вспоминать Ольгу:

*Вы все такие —
в кофточках из ситца,
любимые, —
другими вам не быть, —
вам надо десять раз перебеситься,
и переплакать,
и перелюбить.
И позабыть.
И снова, вспоминая,
подумаешь,*

*осмотришься кругом —
и всё не так,
и ты теперь иная,
поёшь другое,
плачешь о другом.
Всё по-другому в этом синем мире,
на сенокосе,
в городе,
в лесу...
А я запомню года на четыре
волос твоих пушистую лису.
Запомню всё, что не было и было.
Румяна ли? Румяна и бела.
Любила ли? Пожалуй, не любила,
и всё-таки любимая была.*

(Корнилов Б. П. Стихотворения. Поэмы / Сост. С. В. Музыченко. — М.: Советская Россия, 1991)

Разводятся они в 1931 году, хотя фактически уже год не живут вместе, у каждого из них своя жизнь. Напомню, что Ольге на тот момент — 21 год. Борису Корнилову — 23. А они оба уже поэты.

На этот образ-воспоминание в поэме “Моя Африка” Ольга Берггольц ответит Корнилову в 1939 году, когда уже умрёт в возрасте семи лет их дочь Ирина, когда сама Ольга пройдёт издевательства и пытки в тюрьме НКВД.

*О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь,
а может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернёшься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоём, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чём.*

Обратно Корнилов не вернётся. На момент написания стихотворения он будет уже год как расстрелян “за участие в троцкистском заговоре”. Ольга не знала об этом, поэтому и обращается к бывшему мужу как к живому.

В 1930 году она познакомилась с Николаем Молчановым — будущим мужем и главной любовью всей её жизни. Оба — студенты филологического факультета Ленинградского университета. “Он с первого взгляда ей понравился. Молчанов отвечал всем её представлениям об идеальном советском человеке. Он был аскетичный, честный, порядочный и настоящий комсомолец. Именно такого мужчину Ольга хотела видеть рядом с собой. “Донской казак по происхождению, высокий, удивительно ладный, он был необычайно, строго и мужественно красив, и ещё более красив духовно”, — писала она в автобиографии.” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 32)

После учёбы их вместе отправляют в Казахстан по распределению корреспондентами газеты “Советская степь”. Собственная молодость звучит в унисон с грандиозными задачами строительства молодой республики. На казахские мотивы Ольга напишет через несколько лет повесть “Журналисты”, одним из героев которой будет Михаил Якорев. Прототипом этого персонажа стал журналист Леонид Дьяконов, родственник Николая Заболоцкого, печатавшийся под псевдонимом Анк. Все трое — близкие товарищи, делающие одно дело. Они выезжают на поля, на сбор хлопка, описывают строительство социализма в Казахстане в правильном идеологическом ключе, хотя не могут не видеть, как идёт коллективизация в Средней Азии, сколько приписок, разгильдяйства,

саботажа, бедности и нищеты вокруг. Но линия партии требует терпеть, описать успехи и победы, и Ольга искренне верит, что так правильно, так и должно быть. К несчастью, именно знакомство с Дьяконовым сыграет трагическую роль в судьбе Берггольц – он будет одним из немногих, кто даст против неё обвинительные показания, оговорит её на допросах. К несчастью для Берггольц и к счастью для Ленинграда (да простят мне этот невольный цинизм). Потому что сейчас можно совершенно определённо сказать, что, не будь тюремного периода в её жизни, травли в писательской организации, следствия, допросов, исключения из партии, не обрёл бы её голос ту звенящую высоту, какая позволила ей стать “Ленинградской Мадонной”. Писали о блокаде изнутри и Николай Тихонов, и Александр Прокофьев, и Вера Инбер, все трое получили Сталинскую премию “за блокаду”, а голосом Города, его житейкой стала только Ольга Берггольц.

Через какое-то время Ольга возвращается в Ленинград, а Молчанов остаётся в Казахстане. Статус их пока не определён. Ленинград закручивает Берггольц в вихре знакомств, литературных продвижений, богемных посиделок. Она знакомится с Максимом Горьким и с одним из руководителей РАППа Леонидом Авербахом. Авербах был родственником Генриха Ягоды, имел доступ к высоким кремлёвским кабинетам, решал судьбы писателей.

В письме Николаю Молчанову в сентябре 1931 года Ольга восторженно пишет: “Потом приехал Авербах... По приезде он сразу проявил максимум заинтересованности ко мне. Мы с ним сразу подружились. Ходили, разговаривали, ужинали в “Европейской” и т. д. Колька, что это за человек, наш Князь! Интересно, что ему 28 лет! А человек два раза был на нелегальной работе в Германии и Франции, его там били, выслеживали и т. д. Да всего не расскажешь. Ведь он, кроме того, член первого ЦК КСМ, организатор его и т. д. В общем – князь, князь. И (деталь) потом вдруг ещё открылась его сторона, вдруг (?) говорит: “Неделями тянет к револьверу” и т. д. <...> Ну, ладно, потом приезжает небезызвестный тебе Горький. Маршак тянет меня к нему насчёт “Костров”. Идём, долго говорим (больше я, чем Маршак). Спорим. Горький заинтересован, заражён. Пишет рассказ о Ленине, воззвание относительно “Костров”. Колька, Горький до того милый, хороший парень, что я просто обалдела. Сидела с человеком, который написал “Клима Самгина”, и чувствовала себя лучше, вернее, непринуждённее, чем с Авербахом. Тоже, если писать, книжку надо.” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 36)

Ольге 21 год, конечно, у неё кружится голова от открывающихся перспектив. Да и с Авербахом завязывается фривольный роман. Молчанов (ещё не муж) подозревает, но ничего не может поделать. Или не желает. Это будет единственный человек в её жизни, принимающий Ольгу Берггольц такой, какая она есть. Он будет терпеть и прощать все её измены, будет верно ждать, не отречётся, когда она попадёт в тюрьму. И, конечно, будет любить её до конца своей жизни нежно и горячо, как редко умеют любить мужчины.

А связь с Авербахом сыграет в её судьбе роковую роль. За всё придётся расплачиваться.

Из Казахстана Николая Молчанова забирают в армию. Ольга селится в Ленинграде в доме-коммуне, называемой в народе “слеза социализма”. Этот дом в стиле конструктивизма стоит и поныне на улице Рубинштейна, он хорошо известен петербуржцам – любителям и знатокам городской архитектуры.

В 1932 году от Николая Молчанова рождается вторая дочь – Майя. Берггольц наполнена материнством до отказа. Омрачает радость жизни лишь одно: Николай Молчанов комиссует из армии по болезни. Во время учений рядом с ним разорвался снаряд, его тяжело контузило. Вследствие этого у него открылась эпилепсия. Но они оба молоды, жизнь продолжается.

1933 год – это рубеж, после которого жизнь Берггольц круто меняется. 25 июня в больнице в Сиверской умирает девятимесячная дочь Майя. Пережитая трагедия словно приоткрывает в поэте силы, ранее дремавшие, спавшие в ожидании своего часа. Через боль, через страдание прорастает настоящий, живой голос поэта:

*На Сиверской, на станции сосновой,
какой мы страшный месяц провели,
не вспоминая, не обмолвясь словом*

*о холмике из дёрна и земли.
Мы обживались, будто новосёлы,
всему учились заново подряд
на Сиверской, на станции весёлой,
в краю пилотов, дюн и октябрят.
А по кустам играли в прятки дети,
парашютисты прыгали с небес,
фанфары ликовали на рассвете,
грибным дождём затягивало лес,
и кто-то маленький, не уставая,
кричал в соседнем молодом саду
баском, в ладошки: “Майя, Майя! Майя!..”
И отзывалась девочка: “Иду...”*

Эти строчки появятся спустя три года, когда умрёт вторая дочь, Ирина. Стихотворение-диптих так и будет называться “Два стихотворения дочери”. Но в этих строчках уже будет слышен ритм “Февральского дневника”:

*А девушка с лицом заиндевевшим,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завёрнутое в одеяло тело
На охтинское кладбище везёт...*

Оттого и оживут блокадные стихи Берггольц, и отдадутся мгновенным узнаванием в сердцах людей, что сама Блокада зарифмуется с пережитым прошлым: всё это Ольга уже видела, уже пропустила сквозь себя, а потому имеет право говорить от имени сотен тысяч ленинградцев.

На фоне личных трагедий литературная жизнь Ольги Берггольц вполне благополучна и даже успешна. Она сотрудничает с издательствами “Детская литература”, “Молодая гвардия”. О её повести “Углич” комплементарно отзывался Максим Горький. В окололитературных кругах ходят слухи о ней как о приспособленке, двигающейся “по линии партии”. Ольгу это задевает, безусловно, но она уже осознаёт меру своего таланта и место в литературной иерархии 1930-х годов. Она верный, искренний советский писатель. Громит в печати обэриутов, Хармса и Веденского, начинающего Юрия Германа. Её принимают во вновь образованный Союз писателей. Но внутренний надлом уже определён, и это не только следствие пережитых личных несчастий. Её вера в социализм (не бесосновательная, надо сказать) сталкивается с окружающей реальностью. Муж, Николай Молчанов, более осторожен в оценках происходящего. Они часто спорят. У Николая портится здоровье, учащаются припадки эпилепсии. Ольга начинает терять друзей из-за своей непримиримой позиции в отношении партии и коммунизма. После смерти Кирова в 1934 году общественно-политическая обстановка в стране накаляется, начинают отставки, исключения из партии, аресты. К 1936 году массовые посядки людей уже невозможно не замечать. Ольга ищет компромисс в своей душе, пытается соотносить реальность и идеал, веру в партию. “Иду по трупам?” – пишет она в дневнике. – Нет, делаю то, что прикажет партия”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 48)

В марте 1936 года умирает дочь Ирина. После ангины у девочки началось осложнение, уходила она тяжело, мучительно, задыхалась, теряла сознание. Вместо традиционного креста Ольга распорядилась поставить на могиле пирамиду с красной звездой. По воспоминаниям сестры Марии, когда на место захоронения пришёл священнослужитель, чтобы отпеть усопшую, Ольга закричала и в гневе прогнала его. Убеждённая атеистка, она и в горе оставалась верна своим принципам. Пройдёт несколько лет и, оставленная всеми (а главная – партией, которую она любила всем сердцем, которой была предана всем своим существом), находясь в застенках тюрьмы, Ольга переосмыслит действительность, себя в этом страшном и героическом времени. От прежней идеалистки не останется и следа. И вот такой, обновлённой, она войдёт в Блокаду. А стихов, посвящённых Ирине, будет написано много. Все они впоследствии войдут в цикл “Память”.

Отец Ирины, первый муж Берггольц поэт Борис Корнилов на похороны не явился. А 20 марта 1937 года его арестовали. Новая жена Корнилова, Люся Борнштейн, находится на третьем месяце беременности. Перед тем, как уйти навсегда, он успевает сказать жене, что, если родится девочка, пусть назовет Ириной. Так и случается. Ирина Басова только в 60-х годах узнает, что её настоящий отец – великий советский поэт Корнилов. 20 февраля 1938 года Бориса Корнилова расстреляли “за участие в заговоре против Кирова”. Такова официальная версия следствия. Ольга Берггольц ещё долго не будет знать о судьбе первого мужа.

Сгущаются тучи и над ней самой. Плюс ко всему брак с Молчановым становится напряжённым, трудным после смерти Ирины. Ольга Берггольц пытается унять депрессию с помощью вина. И сама откровенно говорит об этом в своих дневниках: “Есть и ещё выход – пить. Говорю без всякой позы: очень, очень вино помогает. Всё становится каким-то лёгким, переходящим, невесомым. Я испытала это раза три за эти месяцы, но этого-то и испугалась... И слёзы тогда какие-то лёгкие, и главное – не жаль ничего, ничего...” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 56)

В 1937 году разгромлено издательство “Детская литература”. Арестованы Заболоцкий, Хармс, Введенский, ряд других, менее именитых писателей и редакторов. Арест грозит Маршаку. Берггольц работает в это время в “Литературном Ленинграде”, прекрасно видит, что происходит, но старается не думать, не анализировать, цепляясь за веру в партийную линию, как за соломинку – утопающий.

“Она даже не понимает, что арест угрожает и ей. И только когда придут за главным редактором “Литературного Ленинграда” – её близким другом Анатолием Гореловым, – она в растерянности запишет в дневнике: “15 марта 1937. Первое чувство – недоумение. Рыжий – враг народа? Или тут перестраховка известных органов, или действительно надо быть исключительной чудовищности гадом, чтоб быть врагом народа, вдобавок ко всему, что мы слышали от него на партсобраниях. Не может быть, чтоб он был арестован только за то, что мы знали. Пока – непонятно.

Второе чувство – опасение за собственную судьбу.” (Там же. С. 61)

В марте 1937 года арестовывают Леонида Авербаха. За связь с “врагом народа” привлекают и Ольгу. Беда не обрушивается внезапно, а ходит вокруг да около. Сначала Ольгу Берггольц исключают из Союза писателей. После этого партийная комиссия на родном заводе “Электросила” исключает её из кандидатов в члены ВКП(б). Это был самый чёрный знак того времени. Дальше мог следовать только арест. Ольга попадает в больницу с преждевременными родами. У неё очередной выкидыш.

Беда приходит, откуда не ждали. Арестовывают близкого знакомого Берггольц, друга семьи, писателя Леонида Дьяконова, образ которого был описан в ранней повести “Журналисты”, того самого друга казахской юности. Донос на него написал некто Алдан-Семёнов, председатель Кировского отделения Союза писателей. Через год, впрочем, арестовали и самого Алдан-Семёнова. “Я вам расскажу обо всём, – заявил он. – Я – враг советской власти. В августе 1936 года мною по поручению Акмина была создана террористическая группа: М. Решетников, Л. Лубнин, Л. Дьяконов, были связи с О. Берггольц, К. Алтайским (Королёвым), П. Васильевым. На собраниях отделения союза писателей Заболотский, Уланов, Колобов, Васенев, Решетников, Дьяконов вели антисоветскую агитацию” (Мильчаков Е. Грозы и травы. Жизнь и творчество Алексея Ивановича Мильчакова – поэта, издателя, библиофила (1900–1966). – Киров, 2001. – С. 66–67.)

Дьяконов и арестованный позднее по тому же делу “вятских литераторов” Игорь Франчески под угрозами и побоями дали показания против Ольги Берггольц.

Алдан-Семёнов двенадцать лет провёл в лагерях, был осведомителем НКВД в лагере, по мнению некоторых исследователей. После выхода писал книги, воспоминания, изданные большим тиражом. Вёл успешную жизнь советского писателя, пострадавшего от сталинских репрессий.

Берггольц арестовали в ночь с 13 на 14 декабря под Ленинградом, в Доме творчества писателей как “участницу троцкистско-зиновьевской организации” и доставили в Шпалерку – тюрьму Большого дома. В постановлении об

аресте говорилось, что Ольга Берггольц входила в террористическую группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства (т. Жданова и т. Ворошилова).

Вот протокол первого допроса. Короткий, лаконичный, ничего не объясняющий. Только время вызывает оторопь: три часа!

“Вопрос. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаёте себя виновной в этом?”

Ответ. Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.

Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.

Ответ. Я говорю только правду.

Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан. О. Берггольц.

Допросил Иван Кудрявцев.

Обозначено и время: с 21:30 до 00:30.” (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — С. 397)

Ровно через год, оказавшись на свободе, она напишет в своём дневнике: “13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страшно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю и родных, — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, — но я живу... подкрасила брови, мажу губы...”

Я ещё не вернулась оттуда, очевидно, ещё не поняла всего...” (Там же. С. 11)

Основанием для ареста послужили показания Семёнова-Алдана и Дьяконова, Кировских писателей. Вот выдержки из этих показаний.

Ф. Семёнов-Алдан (показания от 5 апреля 1938 года):

“... В Алма-Ате Дьяконов был связан с троцкисткой О. Берггольц, которая потом переехала в Ленинград. В начале 1937 г. Дьяконов приезжал в Ленинград, где связался с О. Берггольц. Берггольц обещала нам полную поддержку.”

Л. Дьяконов (показания от 14 апреля 1938 г.):

“... Подобно мне, она уже готовила себя для террористической деятельности. И на мой первый же вопрос — как она смотрит на террор? — Ольга ответила: только положительно.” (Там же. С. 399)

Для тех времен этих показаний было более, чем достаточно, чтобы арестовать человека. Она провела в тюрьме 197 дней. Во время этого срока неоднократно подвергалась психологическому и физическому воздействию. Говоря проще, её били, на неё кричали, не давали спать. В тюрьме она потеряла ребёнка. Выкидыш произошёл на 6-м (5,5) месяце беременности. Ей больше не суждено будет родить. Каждый раз на том же сроке беременности организм, запомнив этот точный срок, будет отторгать дитя.

“Следователь. Подумайте хорошо! Вы ещё можете спасти ребёнка. Только нужно назвать имена сообщников.

— Нет, гражданин следователь. Я ребёнка не сохранию. (И в это время кровь как хлынет...) Немедленно отправьте меня в больницу!

— Ещё чего захотела!

— Называйте меня на вы. Я — политическая.

— Ты — заключённая.

— Но ведь я в советской тюрьме...

Меня всё-таки повели в больницу. Пешком. По снегу. Босую. Под конвоем.

— Доктор Солнцев! Помогите мне!

Сидели несколько врачей. Не подошёл никто. Молодой конвойный со штыком наперевес, пряча слёзы, отвернулся.

— Ты что, солдатик, плачешь? Испугался? А ты стой и смотри, как русские бабы мёртвых в тюрьмах рожают!

— Доктор Солнцев! Вы на воле. Вы можете передать моему мужу, что Стёпки больше нет... всего два слова, понимаете, два слова: “Стёпки нет!”

С тех пор ни мальчики, ни девочки у меня больше не рождались”. (Там же. С. 403).

3 июля 1939 года Берггольц освободили из тюрьмы за недоказанностью преступления. Она не признала вину и никого не оклеветала. Вышла страшная, обновлённая, с уничтоженной верой в партию, не обретшая веры в Бога.

Не сломленная. Пытающаяся жить дальше. Было ли это чудо или “пересменка”, когда сменивший Ежова Л. П. Берия проводил чистку в органах НКВД, в связи с чем некоторые старые дела пересматривались, на какие-то просто махнули рукой, какие-то расследовали объективно. Или это уже Город вмешался в её судьбу, готовя Берггольц для большего? Понимая, что ни один поэт-мужчина не сможет стать пульсом и голосом сотен тысяч голодных ленинградцев? Как знать...

И тем не менее, первое, что делает Ольга Берггольц после освобождения, подаёт заявление в бюро РК ВКП(б) Московского района Ленинграда о восстановлении в кандидатах в члены ВКП(б). 17 июля 1939 года её восстанавливают, а в феврале 1940-го Ольга становится членом партии. Но уже без восторга, без пиетета перед членским билетом, не веря в его силу и правду, просто потому, что таковы правила игры. Но человеку обязательно надо во что-то верить. Мечта оказывается сильнее. В дневнике от 6 ноября 1939 года Берггольц пишет: “Завтра 22 года Октябрьской революции.”

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Миронова Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабуршвили, – коммунистки, беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!..

Я с вами, товарищи, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей – великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!” (Там же. С. 12-13)

Это не статья для газеты, это дневник. Здесь нет смысла врать или крикнуть душой. Напрасно некоторые исследователи стараются представить Берггольц антисоветчицей. Перемолотая тюрьмой, растерявшая веру в партийный аппарат, в людей, определяющих дальнейший путь страны, презирая бюрократию, она остаётся верна мечте социализма. И это искренне в её душе, понастоящему и до конца.

В это же время она формулирует исходный постулат отношения к действительности и миру: “Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идёт по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилён.” (Там же. С. 25).

В дневниках 1941 года прорывается уже тревога, ожидание предстоящей войны, но лишь изредка, неким отголоском *temento mori*: “Успехи немцев подавляют меня. Падение Югославии, на днях – несомненное падение Греции.

Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..” (Там же. С. 29)

“Если наше правительство избежит войны – его нужно забросать лавровыми венками.” (Там же. С. 39)

И, наконец, запись от 22 июня 1941 года: “14 часов. ВОЙНА!”

Как бы цинично это ни звучало, но война внесла смысл и цель в жизнь Ольги Берггольц. Она почувствовала себя, наконец, НУЖНОЙ своей стране, своему народу. И хотя в дневниковых записях военных лет будет прорываться скепсис относительно своего места, роли, значимости этой роли в обороне Города, но судьба уже всё решила за неё. А самое главное для неё как для поэта происходит как будто бы случайно, исподволь, незаметно, но органично: она обретает свой голос, доводит его до предельных высот. Блокадные стихи Берггольц обладают, при всей кажущейся их простоте, невероятной силой ещё и потому, что обращены не в самой себя, не внутрь собственной души, а наружу, ко всем людям. Это и не стихи даже, а в чистом виде блокадная агиография, где святыми становятся все блокадники, от мала до велика.

Муж её, Николай Молчанов, скрыв свою эпилепсию, уходит добровольцем на фронт 26 июня 1941 года, но уже через месяц его комиссуют.

Ольга потом утверждала, что, когда Николай вернулся с фронта, они “влюбились в друг друга ...какой-то особой, обострённо-нежной, предразлучной влюблённостью... Помню, стояли мы один раз с ним на солярии, бомбежка была дикая, было светло от пожаров, как днём, и этот свист от бомб – подлый и смертный. Я изнемогала от страха, но стояла, я же была комиссаром дома.

И Коля вдруг подошёл ко мне, взял моё лицо в ладони, поцеловал в губы и сказал: “Знаешь, если один из нас погибнет, то другой обязан досмотреть трагедию до конца”. Я ответила: “Ладно, Коля, досмотрю”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 89)

Николай Молчанов был одним из немногих, кто не отвернулся от Ольги во время её ареста, писал письма в её защиту всем, кому только можно и нельзя. А на комсомольском собрании, когда его поставили перед выбором, спокойно положил свой комсомольский билет на стол со словами: “Отрекаться от жены — недостойно мужчины”. По воспоминаниям современников, это был очень светлый, чистый человек. Ольга всю жизнь будет хранить память об этом свете как о пределе, образце не человеческой, но небесной природы. И всю жизнь будет к этому свету тянуться.

В конце июня Союз писателей направил Ольгу на работу в Радиокomitee. Её редактором становится молодой военкор Юрий Макогоненко, который сразу же начинает за Ольгой ухаживать. Она с благосклонностью принимает эти знаки внимания.

По радио в те первые месяцы войны выступали многие поэты и писатели, от Лавренёва и Прокофьева до Анатолия Мариенгофа и Анны Ахматовой. Ольга Берггольц в те первые месяцы не выделялась среди других, но уже тогда в её стихах появляются те ноты личного обращения к каждому ленинградцу, которые через несколько месяцев будут дарить людям надежду и давать силы в замёрзших, тёмных декабрьских квартирах. В архиве ленинградского радио сохранился список писателей, поэтов и журналистов — корреспондентов Радиокomitee в период блокады. В этом списке шестьдесят семь имён, не считая штатных сотрудников. Но Голосом блокадного Ленинграда стала одна Берггольц.

22 августа Ольга записывает в дневнике: “22 августа 1941. Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъём был, как все надеялись... А сейчас — уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну — это ясно.

Мы были к ней абсолютно не готовы, — правительство обманывало нас относительно нашей “оборонной мощи”. За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года”. (Там же. С. 90)

В конце августа война подошла практически к стенам Города. Но несмотря на внутренние сомнения, в том же августе Ольга пишет полные жизни и надежды стихи:

*...Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...*

*Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамёна Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:
“Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей”.*

К слову сказать, в конце августа неуверенность в собственных силах проявляется на самом высоком уровне. В тот день, когда Ольга пишет о неготовности к войне, между Ставкой и Смольным состоялся очень тяжёлый разговор.

Сталин осуждал создание Военного совета обороны Ленинграда, спрашивал, почему в него не вошли Жданов и Ворошилов, приказывал отменить выборный принцип батальонных командиров. Пожалуй, впервые у него появились сомнения в возможности действующего руководства отстоять Город. Ольга обо всём этом не знает, да никто не знает. Люди просто живут своей трудной военной жизнью.

И в дневниковой записи от 24 сентября 1941 года – дикая, крамольная мысль: “Они, наверное, всё же возьмут город. Баррикады на улицах – вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей, вожди вообще никогда не думают о людях...”

Только через несколько дней Военному совету станет понятно, что Город немцы не возьмут, атаки прекращаются и противник переходит к позиционной войне. Но в те сентябрьские дни всё висело на волоске. Отметим лишь, что, если бы Берггольц не попала в тюрьму в 1938 году, появления такой записи в дневнике было бы просто невозможно представить. Абсолютно преданная партии и социализму, восторженный певецстроек и заводских будней... Но, наверное, такой поэт не смог бы стать голосом Города. Здесь сплелось всё: и личная трагедия, и тюрьма, и многочисленные романы с мужчинами, и бесконечная череда выкидышей. И даже в голодном, замёрзшем Ленинграде, навещающая в больнице умирающего мужа, Ольга спешит на обратном пути к Макогоненко, проводит с ним ночь, методично отмечает это в своём дневнике – и душа её не болит, и нет стыда, и совесть не мучает. Когда находишься ежедневно на пороге гибели, ценности сдвигаются, невозможное становится обыденным.

Уже 30 августа 1941 года Комиссия ГКО решением 601сс упраздняет Военный совет обороны Ленинграда, передав его функции Военному совету Ленинградского фронта. Другим решением Комиссия постановила немедленно переселить из пригородов Ленинграда местное немецкое и финское население в количестве 96 000 человек. Что и было большей частью выполнено. (Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 212) Эта мера, о справедливости и необходимости которой можно спорить, коснулась отца Берггольца. В своём дневнике Бергголец запишет: “2 октября 1941. Сегодня моего папу вызвали в управление НКВД в 12 час<ов> дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа – военный хирург, верой и правдой отслужил Сов<етской> власти 24 года, был в Кр<асной> Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную старческую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия – это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, НУЖНОМУ для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда”.

На фоне гибели, бомбежек, эвакуации, на грани распада и неверия – с Ольгой происходит перерождение внутреннее. Она влюбляется в Георгия Макогоненко.

*...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюблённой не была... —*

пишет она в сентябре 1941 года.

“В конце сентября Ахматову на правительственном самолёте отправляют в Москву. Её должна была сопровождать Ольга Бергголец. “Мне предлагали уехать, – писала Ольга 1 октября, – улететь на самолёте в Москву с Ахматовой. Она сама просила меня об этом, и другие уговаривали. Я не поехала. Я не могу оставить Кольку, мне без него всё равно не жизнь, несмотря на его припадки, доставляющие мне столько муки... Я не поехала из-за Кольки, из-за того, что здесь Юра, Яшка и другие. В общем, “из-за сродственников и знакомых”, которые все здесь, в городе, находящемся под угрозой иноземного плена, под бомбами и снарядами”. (Н. А. Г р о м о в а. Ольга Бергголец: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 92)

Можно сказать, что именно в этот период Город делает свой выбор. И это не метафора и не красивые слова ради образа. Берггольц остаётся в Ленинграде носителем Миссии (именно так, с большой буквы), которую никто другой просто бы не потянул. Ради этого она жила, появилась на свет, развивала свой скромный дар, которому суждено стать обжигающим, неистовым и спасительным. Об этом, наверное, можно будет забыть через сто лет, но я ещё помню рассказы бабушки, которая 13-летней девочкой в декабре 1941 года слушала по радио стихи Берггольц, и они давали ей силы взять в руки ведро и идти к Неве за водой.

“Постоянное недоедание и непрерывное нервное напряжение обострили болезнь Молчанова. Николаю становилось всё хуже и хуже. Первый тяжёлый эпилептический припадок, ставший прологом к гибели, случился у него 27 октября 1941 года. Ольга записывает: “Сейчас у Коля был страшный припадок — боюсь, что это начало статус-эпилепсии. Как он весь, просветлённый, с неземным каким-то, божественно озарённым и красивейшим лицом, тянулся ко мне после припадка, целовал меня и говорил нежнейшие, трепещущие слова любви...”

А я вчера провела ночь с Юрой М... я радовалась ему, и было даже неплохо в чисто физическом отношении, — но какое же сравнение в том же отношении с Колькой, — совсем не та сила, не тот огонь и сосредоточенная, огромная, отданная только мне — страсть. Но всё же он очень мил мне, и он нежен и страстен, и влюблён, — не знаю только, понравилась ли я ему, как женщина, — я так исхудала за время войны, даже знаменитая моя кожа стала плохой. Но он мил мне, — всё же... Только что, выйдя из припадка, Коля стал уговаривать меня уехать из Ленинграда, если будет эвакуироваться Союз писателей. Я должна уехать, чтоб спасти его, — ему тут очень трудно, — он недоедает остро, нервничает (не из страха и трусости, конечно), стареет, хворает. Но я не хочу уезжать из Ленинграда из-за Юрки, и, главное, из-за внутреннего какого-то инстинкта, — говорящего мне, что надо быть в Ленинграде.” (Там же. С. 95)

Этот *внутренний инстинкт* и есть предчувствие той Миссии, которую Ольга суждено исполнить. Когда сама история выбирает человека из мутного потока времени и ведёт его, несёт, как песчинку, как щепку, и нет воли, чтобы изменить этот ход. Фатализм? Нет, метафизика истории. Именно это и произошло с Берггольц.

В декабре в Ленинграде отключают электричество, перестаёт работать канализация. Люди в Ленинграде ведут себя по-разному. Потому что близость смерти и голод слизывают с человека тысячелетия цивилизации, обнажая его натуру до дна, выталкивая на поверхность всё низменное, тяжёлое, грязное; вбивая в кружащую голову, что человек — не образ и подобие Божье, а всего лишь животное, которое жрёт, пьёт, сношается, убивает, грабит и насилует. Нет барьеров. И надо было обладать твёрдой волей и иметь неиссякаемый запас человечности, чтобы не упасть в эту первобытную яму озверения.

Ещё с осени значительно снизился приём в члены ВКП(б). Опасаясь прихода немцев, люди перестали подавать заявления в партию. Оценивая положение с приёмом в партию в Красногвардейском, Ленинском и Московском районах осенью 1941 года, горком ВКП(б) вынужден был констатировать, что на ряде предприятий приём совершенно прекратился. Настроения в городе были разные, в том числе и упаднические, и пораженческие. Наивно было бы предполагать, что в городе с довоенным населением в 2,5 миллиона человек все бы сплотились, как один. Но массовой паники и протестных настроений всё же не было.

Тем не менее, “в период с 15 октября по 1 декабря 1941 г. число арестованных за “контрреволюционную деятельность” Управлением НКВД достигло 957 человек, в том числе была раскрыта 51 “контрреволюционная группа” общей численностью 148 человек. Несмотря на некоторый средний рост числа арестованных, можно с уверенностью говорить об отсутствии в Ленинграде осенью 1941 г. сколько-нибудь значительного организованного сопротивления власти. В среднем в каждой “группе” было менее трёх человек, а более 800 арестованных никакими “организационными” узлами связаны друг с другом не были.

За то же самое время УНКВД пресекло деятельность 160 преступных групп неополитического характера общей численностью 487 человек, которые

занимались бандитизмом, хищениями и спекуляцией. Это почти втрое больше, нежели численность “контрреволюционных” групп. Всего же за “экономические” преступления с 10 октября по 1 декабря 1941 г. были арестованы 2523 человека. Таким образом, осенью 1941 г. на одного “политического” приходилось трое “неполитических”, избравших для себя иной путь борьбы с голодом и трудностями блокады.” (Н. Ломагин, Неизвестная блокада. – СПб.: Издательский дом “Нева”. – С. 150).

“К декабрю в людях появилось, – пишет в своём дневнике Берггольц, – какое-то холодное оцепенение, душа так же промёрзла, как и всё тело”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 96)

“Николай не дотянет – это явно, – фиксирует она в дневнике. – Он стал уже не только страшен внешне, но жалок внутренне. Он оголодал до потери достоинства почти что. Он падает без сознания. Он как-то особо медлителен стал в движениях. Он ест жадно, широко раскрыв глаза, глотает, не чувствуя вкуса.

Он раздражает меня до острой ненависти к нему, я ору на него, придираюсь к нему, а он кроток, как мама.

Я знаю, что я сука, но ведь и на мне должно было всё это сказаться”. (Там же)

Пришли холода, непривычные, очень сильные холода. Зима 1941-1942 годов по совокупным показателям является одной из самых холодных за весь период систематических наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге–Ленинграде. Среднесуточная температура устойчиво опустилась ниже 0°C уже 11 октября, и стала устойчиво положительной после 7 апреля 1942 года – климатическая зима составила 178 дней, то есть половину года.

И в то же время Берггольц, ежедневно видя гибель людей, ухаживая за безнадёжным мужем, пишет потрясающие по силе воздействия стихи:

*...Скрипят полозья в городе, скрипят...
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
Что слёзы вымерзли у ленинградцев.*

*Нет, мы не плачем. Слёз для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не даёт.
Нам ненависть залогом жизни стала:
Объединяет, греет и ведёт.*

*О том, чтоб не прощала, не щадила,
Чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
Ко мне взывает братская могила
На Охтинском, на правом берегу.*

(Ольга Берггольц. Поэмы. – Л.: Лениздат, 1974. – С. 72-73)

И всё же до декабря 1941 года Берггольц пытается уехать из Ленинграда. Ей крайне важно спасти мужа. О себе она не думает. “О, только бы Колька продержался, только бы его дотащить до Архангельска и положить в госпиталь. Ведь он у меня главный, самый любимый, и я всем сердцем верна ему, несмотря на Юрку. Я обоим им верна и никого из них не обманываю... Странно, что не ощущаю никакой личной путаницы, и Юра и Коля совмещаются. С Юрой – некий отдых, с Колей все тяготы – двойные для меня – его болезни и страшной войны...” – пишет она 26 декабря 1941 года. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 97)

От одной из безумных попыток вырваться её отговорил Георгий Макогоненко. Крайне мало изучен вопрос, как в декабре 1941 года люди, осатаневшие от голода, пытались самостоятельно вырваться из города: договориться с “левыми” шоферами, уйти по льду Ладоги. Именно таким путём хотела вырваться и Ольга, отчаявшись ждать очереди на эвакуацию.

“Недалеко от контрольно-пропускного пункта неширокой цепочкой, прямо на снегу сидели закутавшиеся с головой люди. Несколько сотен вконец исто-

щённых ленинградцев привела сюда, на берег Ладоги, надежда перебраться по льду на Большую землю. Матери и жены, ещё державшиеся на ногах, спасали своих детей и свалившихся от голода мужей. Закутав и запеленав их всем тёплым, что было в доме, усадив их на салазки, они начали свой страданий путь сначала до Финляндского вокзала, затем от станции до озера. Здесь они и остановились – их не пускали на лёд, терпеливо объясняя, что не дойти им до другого берега. Да и сами люди только теперь начинали понимать безумие своего замысла – пройти тридцать километров по пустынному льду, где бушевал ветер.

Отчаявшиеся умудрялись самовольно уходить и через час-другой замерзали в пути. Оставшиеся усаживались на берегу и ждали чуда: раз установился лёд, то пойдут же по озеру машины, они-то и перевезут! Это был страшный исход из блокированного Ленинграда. Спасавшиеся бежали от голода, а он настигал их на самом краю надежды... Они сидели и ждали, а их заносил снегом свирепый ветер.” (Вспомина Ольга Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 126-127)

В начале января Николай Молчанов окончательно теряет связь с окружающим миром. Его переводят в больницу. Ольга навещает его раз в несколько дней, но сердцем уже понимает, что мужа не спасти. И не узнает в опустившемся от голода мужчине своего любимого.

“Его нет, – пишет она в дневнике. – Коли Молчанова на сегодняшний день просто нет, есть некто, которому можно дать лет 60–70 по внешнему виду, некто, ни о чём не думающий, алчущий безумно, дрожащий от холода, еле держащийся на ногах, и всё. Человека нет, а тем более нет моего Коли. Его, на сегодня, уже нет, и если б умер этот, которого я сегодня видала, то умер бы вовсе не Коля... Я не знаю, как объяснить это. Но я понимаю, что это существо – когда-то было Колей и надеюсь, что Коля опять появится. Я сделаю для этого всё, что в моих силах. Надо было бы каждый день ходить на Пряжку и подкармливать его, но это невысказано – через 3 дня ежедневных таких походов я свалюсь сама – с сердцем всё хуже и хуже”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 98)

29 января 1942 года Николай Молчанов умер в больнице. Как и тысячи ленинградцев. Умер от голода и болезни. От надрыва. От всего того, что им вместе с Ольгой довелось пережить. Берггольц остаётся с Георгием Макогоненко. Как бы цинично это ни звучало, но такова жизнь. Нет, Берггольц не хранила верность, не несла строгий траур. Она выживала в умирающем городе и продолжала писать стихи. Результатом смерти мужа станет “Февральский дневник” – одно из самых пронзительных произведений о блокаде, написанных за всё время. Свою жизнь и свои поступки она давно определила в дневниковой записи от 22 сентября 1941 года: “Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: “героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается в любви или в чём-то в этом роде”. (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то, важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это – самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей.” (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 55)

По воспоминаниям Георгия Макогоненко, чтобы как-то отвлечь Ольгу от обрушившейся на неё трагедии, он и тогдашний начальник литературно-драматического вещания Ленинградского радиокомитета Яков Бабушкин уговаривают Ольгу взяться за поэму о блокаде. Срок – к 23 Февраля, ко Дню Красной армии. Берггольц раньше поэм не писала, но видимо, сам текст, его структура уже внутренне вызрели в ней, оформились интонационно и стилистически. А самое главное – содержание подсказывала сама окружающая действительность. После смерти мужа Берггольц окончательно переезжает в Радиокомитет. “Ольга Фёдоровна сидела в дневное время на диване, закутавшись в платок, и что-то писала, тихо “бормоча” рождавшиеся стихи” (Вспомина Ольга Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 137). Так, фактически за полмесяца, родилась поэма “Февральский дневник”. Поэма была впервые прочитана Ольгой Берггольц 22 февраля 1942 года в 195-м номере “Радиоэха”. Это был бессознательный рубеж, навеки связавший маленькую

хрупкую женщину с Ленинградом. А 25 февраля Ольга встречает в Доме писателя... свою сестру Мусю. Узнав в Москве о смерти Молчанова, Муса добилась приёма у Фадеева, смогла организовать грузовик с продуктами для ленинградских писателей, и сама в качестве добровольца-сопровождающего провела машину в Ленинград через полстраны и по льду Дороги жизни. По другим данным, машину организовал Николай Тихонов, прибывший в Москву для выполнения срочного задания и рассказавший Владимиру Ставскому, секретарю Союза писателей СССР, о бедственном положении писателей Ленинграда. Именно Ставский добился разрешения послать машину с продовольствием из Москвы. (Там же. С. 139)

Как бы там ни было, в конце февраля сестра приезжает к Ольге Берггольц в Ленинград. А 1 марта 1942 года Ольгу самолётом переправляют в Москву. Казалось бы, все позади: голод, холод, бомбёжки. Но Ольга не находит себе места в сытой Москве.

“Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде всё скрывалось, о нём не знали правды так же, как о ежовской тюрьме... Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио “Февральский дневник”, ни издать книжки стихов так, как я хочу... Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас”, – вспоминает Ольга в своём дневнике сразу по приезде в Москву. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 68-69)

И спустя неделю: “Я совершенно не понимаю, что не даёт мне сил покончить с собой. Видимо – простейший страх смерти... Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него.” (Там же. С. 70)

“Живу в гостинице “Москва”. Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода. В Ленинград! Только в Ленинград... Тем более, что вовсе не беременна – опухла просто.

В Ленинград – навстречу гибели...” (Там же. С. 70)

Город не отпускает Ольгу. Не отпускают личная трагедия, близкие люди, Миссия, дыхание которой она уже почувствовала. В письме к Макогоненко от 8 марта 1942 года она пишет: “Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи – всё это отлично, но как объяснить тебе, что это ещё вовсе не жизнь – это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ – нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнажённое, грозное, почти освобождённое от разной шелухи”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 140)

В Москве Ольга ведёт активную деятельность, пытаюсь помочь Ленинграду, писателям, оказавшимся в кольце блокады. Она даёт творческие вечера, буквально выбивает в Наркомпищепроме продукты для ленинградских писателей: лимоны, апельсины, сгущённое молоко, кофе. По негласному распоряжению Жданова, адресные посылки для организаций Ленинграда не приветствуются. С одной стороны, распоряжение жестокое. С другой – перед голодом все равны, а слухи об отдельных категориях граждан, находящихся на особом положении, и так бродят по городу. Москва отталкивает Ольгу. Она всё больше убеждается, что на Большой земле не представляют реальной тяжести и последствий блокады. Тем не менее, люди везде разные. И в Москве находится очень много искренних, по-настоящему переживающих за Ленинград писателей.

“В Москве и Союзе писателей есть отдельные люди – полны самой настоящей боли за Ленинград, самого настоящего стремления помочь ему. И они делают всё, что могут. Тут, в первую очередь, надо говорить о Тихонове, потому что Ставском (он наладил вторую солидную посылку ленинградским писателям и несомненно поможет в добыче лекарств и для Радиокomiteта), о Маршаке, у которого, правда, очень невысок КПД, но всё же он хлопочет и т. д., о Фадееве, который, к сожалению, сейчас болен воспалением лёгких. Я слышала от Ставского, что и вообще – “тот, кому это нужно”, о Ленинграде знает и старается, чтобы поскорее пришла помощь городу...” (Там же. С. 143-144). “Тот, кому это нужно”, закавыченный в письме Берггольц, вероятно, товарищ Сталин. С Владимиром Ставским – особый разговор. Это тот самый случай, когда партийный функционер не лишён личной храбрости, а доносы пишет не из страха или выгоды, а искренне, по велению души, исходя из видения текущего момента и идеалов социализма. В 1938 году он написал

докладную записку на имя Ежова, требуя “решить вопрос о Мандельштаме”. Нарком внутренних дел обращению внял, вопрос был решён. Мандельштама повторно арестовали и в этом же году он умер от сыпного тифа в пересыльной тюрьме. Ставский написал донос на имя Сталина и о “грубых политических ошибках” Шолохова. Но Шолохов был не той фигурой, которую можно свалить одним доносом, даже на имя Сталина. И тот же Ставский храбро воевал в гражданскую войну, был военным корреспондентом в самых горячих точках на Халхин-Голе и во время финской войны, где получил тяжёлое ранение. От пуль не прятался, дважды награждён орденом Красного Знамени. Погиб во время вылазки за нейтральную полосу вместе со снайпером Клавдией Ивановой недалеко от Невеля в 1943 году. Его пример наглядно демонстрирует нам две простых истины. Во-первых, личная храбрость ещё не является гарантией внутренней порядочности. Во-вторых, невозможно служить добру драконовскими методами. Всегда, как бы высоко ни заводила нас жизнь, необходимо помнить, как свет, как отцовский наказ: дьявол начинается с пены на губах у ангела. Посылка, собранная по ходатайству Ставского, вероятно, спасла многие жизни в блокадном городе. Но в памяти потомков он останется как человек, убивший Мандельштама.

А “Февральский дневник” Берггольц расходуется в списках по Москве, без малейших усилий приносит автору бешеную популярность, хотя сама Ольга терзаемая сомнениями насчёт художественной силы поэмы. Все ей кажется, что сказано не то, не так. Параллельно с творческими выступлениями и хождениями по кабинетам, Берггольц составляет книгу стихов, посвящённых блокадному Ленинграду. И снова чувствует себя маленькой пылинкой в руках времени. “И вот вожусь с книжкой, всё ещё не снесла её в издательство, кажется она мне слабой, рассыпчатой, недостойной Ленинграда, недописанной”. (Там же. С. 144)

Её раздражает то, что правда о Ленинграде замалчивается. “Ни слова о голоде, и вообще, как можно бодрее и даже веселее. Мне ведь так и не дали прочитать по радио ни одного из лучших моих ленинградских стихов. Завтра читаю “Машеньку”, “Седую мать троих бойцов”, “Ленинградские большевички”. Даже “Новогодний тост” признан “мрачным”, а о стихотворении “Товарищ, нам горькие выпали дни” сказано, что это “сплошной пессимистический стон”, хотя “стихи отличные” и т. д.”. (Там же. С. 146)

В Москве газета “Литература и искусство” предлагает Ольге Берггольц стать их военным корреспондентом. Для неё это был большой соблазн: командировки по всем фронтам, возможность увидеть всю воюющую Россию. К тому же газета была не еженедельная, что давало возможность внимательно и вдумчиво подготовить материал. Но для Берггольц выбор был очевиден, о нём она и говорит в письме Георгию Макогоненко: “Я ни одной минуты не думала бы – принять или нет это предложение, – если бы не было на свете Ленинграда и тебя... “Аще забуду тебя, Иерусалиме...” (Там же. С. 148-149). Письмо датировано 16 марта 1942 года, но к этой фразе из 136-го псалма Псалтири Ольга обращается раньше, в дневниковой записи от 9 марта. “Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя”. И адресована эта фраза была погибшему мужу, Николаю Молчанову. Убедённая атеистка, Берггольц обращается к Богу как к последней инстанции, как к высшей воле, дающей наказание за грехи, но и дарующей крест, понять всю тяжесть которого можно только испытав то, что испытала в жизни сама Берггольц.

Её не покидает чувство вины за смерть мужа.

“Сегодня всё время приступаю – видение Коли во второе моё посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, всё время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука!.. Мне нельзя жить. Это всё равно не жизнь. Я оправдываю своё существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели”. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 81)

Её терзает чувство вины и какая-то раздвоенность бытия. Она в прямом смысле сходит с ума от собственной совести, но ничего не может поделать.

“О, как я одинока без Коли, – он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня, не давил на меня, не отягощал меня своею любовью

и заботой”. И тут же: “Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня”. (Там же. С. 83)

“Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая радио и читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар всё, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом...” (Там же. С. 87)

20 апреля 1942 года Ольга Берггольц возвращается в Ленинград, и это возвращение становится очередным личным рубежом. Всё меньше самобичующих записей в дневнике. Ольга спокойно принимает свой крест и свой путь, как и полагается большому русскому поэту.

“Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь... Когда я приехала, я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень тёплую, даже с мягкой мебелишкой (“на этом диване ты сидела в 50 хронике”), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он (Георгий Макогоненко. — **Прим. авт.**) приготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жильё, — правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных”. (Там же. С. 91)

Голода в жизни Берггольц больше не будет. Во-первых, к маю 1942-го Ленинград немного оправился после блокадной зимы. С февраля 1942 года суточную норму хлеба для иждивенцев и детей подняли до 400 граммов в день, а для рабочих — до 600 граммов в день. Во-вторых, снабжение редакторов радиокomiteта всё же шло на несколько ином уровне, чем для всего остального населения, за исключением партийной номенклатуры. И паёк был повышенным, и кормили в столовых общего питания, и талоны на крупу и мясо выдавали.

Первого мая 1942 года в Ленинград из Москвы прилетели Фадеев, Тихонов, Маргарита Алигер. Писатели встречаются с коллегами в Доме радио на том самом 7-м этаже.

5 июня 1942 года по инициативе Шолохова в Ленинграде выходит, наконец, отдельным изданием “Февральский дневник”. Ольга в Городе — почти икона. Её знают все, ей пишут письма благодарности.

“Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: “Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умирал муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я кормила мужа, а ложку куда-то в нос ему сую — это ужас, — и вдруг мы слышим ваши стихи. И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее...” (Там же. С. 97)

А в августе того же года неожиданно из Радиокomiteта увольняют Макогоненко. Причиной увольнения стали стихи. Не Берггольц, а замечательного поэта Зинаиды Шишовой. Макогоненко пустил в эфир её поэму “Блокада”, даже не поэму ещё, а наброски, отдельные главы. Полностью поэму Шишова закончит только в 1943 году, но и того, что ушло в эфир, было достаточно. Передача по радио ещё не закончилась, как раздался звонок из горкома, эфир пришлось прекратить. Возможно, из-за этих обнажённых строк:

*...Ты просишь пить — и я опять иду
И принесу — хотя бы полведра...
Не оступиться б только, как вчера!*

*Вода, которая совсем не рядом,
Вода, отравленная трупным ядом,
Её необходимо кипятить,
А в доме даже щепки не найти...*

*Наш дом стоит без радио, без света,
Лишь человеческим дыханием согретый...
А в нашей шестикомнатной квартире*

*Жильцов осталось трое — я да ты,
Да ветер, дующий из темноты...*

*Нет, впрочем, ошибаюсь — их четыре.
Четвёртый, вынесенный на балкон,
Неделю ожидает похорон.*

(Победа. Поэты о подвиге Ленинграда
в Великой Отечественной войне. Л.: Лениздат, 1970)

Такую откровенность городской комитет ВКП(б) счёл недопустимой. Макогоненко был уволен, что означало лишение брони и возможную отправку на фронт. Впрочем, как видно из дневников Ольги Берггольц, сам Макогоненко не был рыцарем без страха и упрека. Горком запретил поэму к эфиру, предупредил об этом Широкова, директора Ленинградского радиокомитета. Широков об этом никому не сказал (забыл?), а Макогоненко, не зная о запрещении, дал поэму в эфир. Горком был в ярости, Широков и Бабушкин свалили всё на Макогоненко. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — С. 126) После увольнения Макогоненко некоторое время проработал в политуправлении Балтийского флота и только в сентябре 1943 года был восстановлен в Радиокомитете.

В июне-июле 1942 года Берггольц пишет “Ленинградскую поэму” — не просто стихи, а попадание в нерв блокадного Города.

*Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
— Сменяй на платье, — говорит, —
менять не хочешь — дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала... —
И я сказала: — Не отдам. —
И бедный ломоть крепче сжала.*

(Ольга Берггольц. Поэмы. —
Л.: Лениздат, 1974. — С. 81)

Как и с “Февральским дневником” до этого, успех был оглушительный. “Успех поэмы превзошёл все мои ожидания. Нет смысла записывать все перипетии борьбы за неё — походы к Маханову (один из инициаторов увольнения Макогоненко. — **Прим. авт.**), разговоры с Шумиловым и т. д. Главное, что с очень небольшими, непринципиальными словесными изменениями (разумеется, ненужными и ухудшающими эти строки) она была напечатана в “Лен. Правде” от 24 и 25 июля и читана мною по радио 21/VII”. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — С. 128)

Чтобы понять причину внезапного успеха Берггольц, необходимо, во-первых, представить, как много значило радио для жителей заблокированного Города. Одним из худших дней блокады, по воспоминаниям многих очевидцев, был декабрьский день, когда по техническим причинам радио не работало три часа. Даже метроном не стучал. Полная тишина. Голодные люди находились в полной неизвестности, не зная, захвачен город или просто произошёл сбой на линии. Во-вторых, необходимо просто послушать, как она читает свои стихи. С лёгким грассированием, невероятной искренностью, по живому, что называется. Воистину, голос Города!

“Едва этот голос произносил первые слова, как его интонация уже становилась как бы твоей собственной, словно она жила в тебе всё время, но — мучимая голодом, бедою, страхом — не смогла ожить и зазвучать; горожанин, услышавший этот голос, тоже напрягал все свои усилия в отчаянном рывке к жизни и победе, и он, естественно, воспринимал его как свой собственный, но только — многократно усиленный, — голос победоносно звучал

из пробитых осколками уличных громкоговорителей и в заводских цехах, и в “тиши глухих обледеневших зданий”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. Л.: Лениздат, 1979. — С. 161)

В Ленинграде Берггольц и Макогоненко живут на Рубинштейна, 22. Большая квартира, есть даже кабинет для творчества. Известность Ольги приносит ей повышенный паёк и возможность работать на дому. С продуктами перебоев больше не будет. Жизнь войдёт в относительно спокойную колею. Ольга не оставляет попыток забеременеть, но каждая беременность заканчивается выкидышем.

18 января 1943 года советские войска после ожесточённых боёв прорывают кольцо Блокады. Ольга на страницах дневника делится радостью с покойным мужем Николаем Молчановым. Что происходит в ночь на 19 января в Ленинграде — не передать никакими словами.

24 января 1943 года она пишет сестре слова, полные счастья и боли: “...Как я думала о тебе, сестрёнка, в ночь с 18 на 19 января... У нас всё клубилось в Радиокomiteте, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали — правда! И хотя мы знаем, что этот прорыв ещё не решает окончательно нашу судьбу, — ведь, чёрт возьми, так сказать, с другой стороны, немцы-то ещё на улице Стачек, 156, всё же весть о прорыве, к которой мы были готовы, обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью... Мы вещали всю ночь, без всякой подготовки, но до того всё отлично шло — как никогда... ”

До чего это трогательно было и приятно, что именно сюда, в Радиокomiteт, стремились люди. Одна старушка в пять часов утра встала и шла из Новой Деревни пешком, не в силах дожидаться трамвая, “поговорить по радио”, её выпустили, конечно...

Повторяю, хотя мы ещё накануне кое-что существенное знали и, слыша гром нашей артиллерии, понимали, что он значит, — известие меня ошеломило. Просили, чтоб я написала стихи, — но рифмовать я ничего не могла. Я написала то, что просилось из души, с мыслью о Коле, вставила две цитаты из “Февральского”, — и как будто бы вышло. Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала, что не дочитаю — помру. Правда. И потому говорила, задыхаясь, и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что помимо текста именно это “исполнение” и пронзило ленинградцев.

Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт, при этом для меня совершенно неожиданный: на другой день все говорили об этом выступлении (“Вот сказала то, что все мы думаем, и так, как все чувствовали”) — и до сегодняшнего дня я продолжаю получать письма — отклики на это выступление — в стихах и прозе. Некоторые пишут: “Мы сразу после известия о победе стали ждать Вашего выступления — и не ошиблись: мы услышали Ваш уже так знакомый и милый голос, и Вы сказали то, что у всех у нас горело в сердце”. Но что мне действительно приятно — это сообщение Любы Спектор, которая в эти минуты была на Волховском фронте, соединившемся с нашим. Она прибежала ко мне 20.1 и, захлебываясь, рассказывала: “Понимаешь, именно в той землянке, откуда генералы руководили боем, они тебя слушали и ревели, понимаешь, ревели генералы, и бойцы тоже слушали, и все говорили: увидите её — обнимите”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 107)

Вот что сказала Берггольц ленинградцам и всей России:

“Здравствуй, Большая Земля!

Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья!

Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые чёрные месяцы Ленинграда — в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: “Мы победим”. Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою душу слезами, хороша в мёрзлой земле их без всяких почестей, в братских могилах, вместо прощального слова клялись им: “Блокада будет прорвана. Мы победим!” Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения придёт, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны,

во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвёт мучительную блокаду.

Так думали мы тогда. И этот час наступил — ночь с 18 на 19 января 1943 года.

Мы знаем, нам ещё многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим всё. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу.

Мы знаем, что сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о прорыве блокады вся Россия — вся Большая Земля. Здравствуй, здравствуй, Большая Земля! Приветствуем тебя из освобождающегося Ленинграда! Спасибо тебе, Большая Земля, за твою помощь! Клянемся тебе, что мы будем бороться, не жалея никаких сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение всей советской земли.

*О, дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твоё лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слёз своих: теплей
в сердцах у нас, бесслёзных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.
Пусть эти слёзы сердце успокоят...
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты боя
за всё, за всех, задушенных кольцом.
За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей...
О, наша месть — она ещё в начале, —
мы длинный счёт врагам поберегли:
мы отомстим за всё, о чём молчали,
за всё, что скрыли от Большой Земли!
Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
я расскажу подробно обо всём,
когда вернёшься в ленинградский дом,
когда я выбегу тебе навстречу.
О, как мы встретим наших ленинградцев,
не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибратся:
он пострадал, он потемнел в бою.
Но мы залечим все его увечья,
следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях
выйдем к вам навстречу,
к “Стреле”,
пришедшей прямо из Москвы.
Я не мечтаю — это так и будет.
Минута долгожданная близка.
Но тяжкий рёв разгневанных орудий
ещё мы слышим: мы в бою пока.
Ещё не до конца снята блокада...
Родная, до свидания!
Иду
к обычному и грозному труду
во имя новой жизни Ленинграда.*

(<https://public.wikireading.ru/10609>)

Сейчас действительно сложно понять, почему именно Берггольц стала “блокадной Мадонной”. Не гениальные стихи с точки зрения стихосложения.

Не самый правильный взгляд на партию и власть. Не самый целомудренный образ жизни. Всё – “не самое”. А вот случилось попадание в нерв ленинградского быта...

В декабре 1941-го–феврале 1942-го жизнь ленинградцев вышла за предел человеческих возможностей. И то, что Город выжил, – свидетельство промысла Божьего. День блокадника был поделён на череду маленьких подвигов. Спуститься к реке и принести воды – подвиг; раздобыть дров – подвиг; отovarить карточки – подвиг; не упасть на улице – подвиг. И так каждый день. И в этой череде свершений тихий голос Ольги смог упорядочить распадающиеся куски бытия. Она своими стихами, как клеем, скрепляла блокадную действительность, сосредоточенную в душе каждого отдельного человека. Быт Города вырастает из быта его жителей, каждого в отдельности. И если человек – это микроскоп, целый непознанный мир, то не существует универсального ключа, отмыкающего все духовные засовы. К каждому потребен свой ключик. Но в том-то и секрет Берггольц, что она такой ключ нашла, выточила, сама, может быть, того до конца не осознавая. И люди поверили ей. А значит, и Город повернулся ей навстречу своим высохшим серым лицом.

Сама Ольга сформулировала это похожим образом: “Итак, весной сорок второго года мы бурно, с восторгом переживали возвращение к обычной жизни, – писала Ольга, – и знаете, когда впервые после зимы заплакали ленинградцы, действительно переставшие плакать, не из мужества, а из-за того, что просто не было тех эмоций, которые соответствовали бы тому, что было зимой? Они заплакали на первом после декабря сорок первого года симфоническом концерте – это было пятого апреля сорок второго года, заплакали, потрясённые тем, что вот на сцене сидят люди – не в ватниках, а в пиджаках, и что не просто люди, а артисты, и они... играют на скрипках! Всё, как когда-то ТОГДА, “как у людей”, мы живы, мы даже вот музыку слушаем, которую специально для нас играют специально занятые этим люди. Что играли – было не важно, важно было само, что ли, явление...”

Никогда не позабыть этого первого после той зимы концерта!

... Потом стали копать грядки... Потом стали переселяться, стеклиться, обстоятельно устраивать жизнь, в ноябре-декабре сорок второго года стали рождаться в Ленинграде дети, первые новые дети осаждённого города. Прозимовали очень прилично... У нас бытом стало само Бытие, и быт – Бытием, наоборот...” (Там же. С. 111)

Немного коряво, восторженно и даже панибратски, но при этом наиболее точно этот феномен объяснила отдалённая подруга Берггольц – Ольга Хузе, в письме от 12 июля 1942 года: “Родная моя, то, что ты написала, это ж то, что испытано миллионами, – “такими мы счастливыми бывали, такой свободой дикою дышали, что внуки позавидовали б нам”. Ты перестала быть маленькой ленинградской поэтессой – ты стала чувствилищем тысяч и тысяч нас, вот теперь ты стала поэтом.

Такое пишется тогда, когда между поэтом и жизнью ничего нет между, никаких оглядок, никаких мелочных беспокойств о свежести рифм, образов, – тут уверенность в правоте каждого слова, а слово полноценно, весомо, зримо-полновесное зерно, о котором мечтал всегда Маяковский.” (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 254)

В апреле 1945 года, ровно за месяц до Победы, Ольга Берггольц пишет поэму “Твой путь” – лучшее, что было написано о блокаде во все времена. Она достигает поэтического потолка, выше некуда, выше – только звёзды и небо. В этой поэме нельзя выкинуть ни единого слова, ни единой запятой. В ней – ни строчки о непобедимой Красной армии, партии и зверствах фашистов, но вместе с этим предельно сжатая суть блокады, человека внутри бесчеловечного, – ода любви, силе духа. Ни единой строчки о Боге – и вместе с тем – самое христианское, что было ею написано за всю жизнь. Она в ней пишет о себе, поочередно обращается на “ты” к погибшему мужу и Георгию Макогоненко, так внезапно, так случайно и вместе с тем выверенно, что два любимых мужчины в её жизни сливаются в одно – в один образ, равный Городу. А тысячи неизвестных, погибших в блокаду, не сдававшихся – оживают в неизвестном, вмёрзшем в лёд человеке. Он – жуткий и честный символ умерших и съеденных, и вместе с тем – не сломавшихся и выживших. Как Берггольц это сделала, для меня остаётся загадкой – это Чудо поэзии.

*...И на Литейном был один источник.
Трубу прорвав, подземная вода
однажды с воплем вырвалась из почвы
и поплыла, смерзаясь в глыбы льда.
Вода плыла, гремя и коченя,
и люди к стенам жались перед нею,
но вдруг один, устав пережидать, —
наперерез пошёл*

*по корке льда,
ожесточась пошёл,
но не прорвался,
а, сбит волной,
свалился на ходу,
и вмёрз в поток,
и так лежать остался
здесь,
на Литейном,
видный всем, —
во льду.*

*А люди утром прорубь продолбили
невдалеке*

*и длиною чредой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
ходить сюда, не говори: “Забудь”.
Я знаю всё. Я тоже там была,
я ту же воду жгучую брала
на улице, меж тёмными домами,
где человек, судьбы моей собрат,
как мамонт, павший сто веков назад,
лежал, затёртый городскими льдами.*

*...Вот так настал,
одетый в кровь и лёд,
сорок второй, необоримый год.*

(Ольга Берггольц. Поэмы. —
Л.: Лениздат, 1974. — С.105-106)

И — впервые — Ольга смело обращается к самому Городу, узнавая, подтверждая свою случайную избранность. Смело и во весь голос проговаривая вслух те тонкие материи, которые в принципе проговаривать не принято. Но ложная скромность уже не работает в случае поэта, твёрдо знающего, зачем он родился на свет:

Я счастлива.

*И всё яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла
в судьбу твою,
мой город,
в званье твоего поэта.*

*Не ты ли сам зимой библейски грозной
меня к траншеям братским подозвал
и, весь окостеневший и бесслёзный,
своих детей оплакать приказал.*

*И там, где памятников ты не ставил,
где счесть не мог,
где никого не славил,
где снег лежал,
от зарев розоватый,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришёл,*

*чтоб землю вздыбить под могилы,
там я приказ твой гордый выполняла...
Неся избранье трудное своё,
из недр души я стих свой выдирала,
не пощадив живую ткань её...*

*И ясно мне судьбы моей веленье:
своим стихом на много лет вперёд
я к твоему пригвождена виденью,
я вмёрзла
в твой неповторимый лед.*

(Там же. С. 114-115)

“В письме от 23 апреля 1945 года к сестре Ольга делится переживаниями и радостями, связанными с созданием “Твоего пути”: “Дорогая Муська! Очень искренне рада, что тебе понравилась моя поэма. Она меня очень вымотала и всё ещё живёт со мной. Я кое-что уточняю, переделываю... Но знаешь, — я же не хвастаюсь перед тобой, — мне всё-таки думается, что эта самая интонация, которая позволила тебе говорить о Маяковском, — налицо: как сказала Ахматова, “властный стих”, — понимаешь, вот это “я”, вот это осознание личности, себя и права своего говорить о себе полным голосом. <...>

Я устала смертельно. У меня всё внутри истончилось, как давно носимая ткань, всё трясётся и готово прорваться. Хотелось бы встретить победу светлой песней, достойной её крови и ужаса, — и не знаю, хватит ли сил... Только что была сводка, что мы “прорвались к Берлину”. Дуся, вчера они были в 4 км от Бранденбургских ворот, на Унтер ден Линден. Сегодня они дерутся в центре Берлина... Муська, обнимаю Берлином! Родная!” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 113).

Поэма автобиографична. Николай Молчанов и Георгий Макогоненко. Любовь и Смерть. Всё рядом. Всё до конца. Испытания, заставившие пройти Ольгу сквозь муки ада (физического и внутреннего), ада совести, самокопания и вины) высекли каждое слово этой поэмы ленинградским гранитом: щербатым, холодным, неповторимым и вечным. Выскажу страшную мысль, но, может быть, Город (как сумма земного и метафизического) устоял только потому, что жила в нём маленькая хрупкая женщина, сдерживавшая ад своими стихами.

Критики и недоброжелатели не упустили повода обрушиться на Берггольц. Мотив верности погибшим мужьям в послевоенной литературе стал не высказанным вслух указующим лейтмотивом. Поэтому сама возможность счастья с другим человеком, после того как твой муж умер от голода, не умещалась в партийную линию соцреализма.

“И вот вне всякой связи с постановлением, — писала она в дневнике через год после выхода поэмы, — появилась в одной ленинградской газете огромный подвал, где в разнузданно-хамских тонах опорочивались мои блоккадные стихи и в особенности поэма “Твой путь”. Писалось текстуально следующее: “В этом произведении рассказывается о том, как женщина, потеряв горячо любимого мужа, тотчас благополучно выходит за другого. Эта пошлая история не имеет ничего общего с героической победой Ленинграда.” (Там же. С. 114)

Мало кто понимал, что никакая критика, никакие постановления и осуждения не могли вынести Ольге приговора тяжелее, чем вынесла она себе сама.

“Когда поэма уже вышла, Ольга, перечитывая свой военный дневник, записывает: “Где-то затерялся день, когда однажды Коля немисливо нежным голосом уговаривал, молил меня: “Оленька, уедем, солнышко, Псоич,

уедем...” Я сидела рядом с ним на кровати, положив ему голову на грудь, и сказала только: “Ладно, уедем”.

Как он собирался, как складывал все в мешки, сшитые им же крупными, чёрными стежками. Он чувствовал, что гибель подходит к нему. А у меня это только до ума доходило, а до сердца – нет. Чёрствое и легкомысленное оно было.

И неверным он выглядит из этих записок. Да, он и жалок был, и оголодал дико, но в то же время – сколько доброты и кротости в нём было, и весь он жил мыслью – спасти меня, увезти. Ведь он и от Юры хотел меня увезти – я знаю, я и тогда догадывалась об этом.

Господи, только бы не забыть ничего.

Пусть мучит его лицо, его облик весь, пусть совесть терзает всё так же гуче, как сейчас, только бы не забыть ничего.

Добрый мой, прекрасный, мука моя пожизненная и отрада, – не уходи из меня.

ЛЮБОВЬ МОЯ,

ВЕЧНАЯ КАЗНЬ МОЯ,

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ МОЯ”. (Там же. С. 114)

После войны, после Победы, когда все испытания были пройдены, когда пришла по-настоящему всесоюзная слава, когда Берггольц обрела ясный и звонкий поэтический голос, случился надлом. Как это произошло? Что стало последней каплей? Лучше всего на эти вопросы отвечает сама Берггольц в автобиографии.

“Вино я пила и до войны, и во время войны – эпизодически, в компании. Средством утешения и забвения оно для меня не было... сил ещё было много и до знаменитого бублика, съев который после двух калачей чувствуешь себя сытым по горло, – было ещё далеко. Но дело не в вине. Дело в жизни, о ней и буду продолжать писать. К <19>46 году у нас был уже уютный, красиво и хорошо обставленный дом, хлебосольный, любимый друзьями, всё более совершенствующийся, требующий всё большего внимания хозяйки. Мы оба с любовью им занимались (...) Но уже с начала <19>46 года призраки стали возвращаться (...)

Затем, в августе 1946 г<ода>, известное постановление ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленинград”.

Я, как и все писатели, не была к нему подготовлена – надо было много продумать, понять, а сначала оно меня ошеломило. Кроме того, Анну Ахматову я знала с 18 лет, дружила с ней, любила её и её стихи, и все об этом знали, и хотя я никак не упоминалась в Постановлении, и хотя моё творчество прямо противоположно ахматовскому, вокруг меня в Лен<инградском> отд<елении> Союза писателей начали некоторые братья-писатели и критики поднимать свистопляску. Среди них были и те, которые исключили меня из партии в <19>37 году. За 9 истекших с того времени лет имена их не стали широко известны советскому читателю, а моё, к их прискорбию, стало (...)

Потом, так как я не “разоблачила” Ахматову, меня отовсюду повыгоняли – из Правления, из редсовета издательства, выступление моё по поводу постановления на решающем собрании – ленинградская печать признала “неправильным”, “несамокритичным” и т. п., и т. п., мою книгу “Избранное”, включённую в “Золотую серию” к 30-летию Октябрьской Революции, ленинградский союз с восторгом вычеркнул из списка. И открылись во мне раны <19>37–<19>39 гг... И вот, вкпе с общими и другими ощущениями, – это был тот самый бублик. (...)

Правда, через некоторое время московский секретариат Союза писателей, в частности, лично А. А. Фадеев, затем покойный Всев<олод> Вишневский и вообще весь секретариат исправили ленинградские перегибы: статья о моих стихах была квалифицирована как хулиганская, сборник “Избранное” Москва включила в свой план, книга редактировалась в Москве и была издана в “Золотой серии”. (...) Сразу после Постановления я взялась, с помощью Юры, за большую работу. Мы написали пьесу на послевоенную острую тему, честную, правда, не лишённую чисто драматургических недостатков. На Всесоюзном закрытом конкурсе она получила вторую всесоюзную премию. В конце <19>47 г<ода> состоялась премьера в Большом драматическом <театре>

в Ленинграде. Премьера, на которой было всё начало этого города, прошла с шумным успехом, зрители были очень довольны — через несколько дней в лен<инградских> газетах появились статьи, где в пух и прах с чисто шулерскими передержками разносили пьесу, обвиняя нас в “клевете на рабочий класс” и т. д., и т. д. Как мы выяснили, господину Попкову, бывшему на премьерке, не понравилось, что у одной из наших героинь, работницы-стахановки, была личная драма. (Попков Пётр Сергеевич — Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), 26 марта 1946 года — 15 февраля 1949 года. — Прим. авт.) Этого недовольства оказалось достаточно, чтобы снять спектакль и вместо критики начать травлю. Даже лен<инградское> отделение Союза писателей на специальном собрании, посвящённом обсуждению пьесы и статей, с единодушным возмущением осудило появившиеся статьи. Об этом, разумеется, нигде напечатано не было.

К концу <19>48 года я закончила трагедию в стихах, пять актов с прологом, — о Севастополе. (трагедия “Верность”. — Прим. авт.) Покойный А. Я. Таиров и Алиса Коонен заявили, что такой трагедии они ждали много лет, что это будет их “лебединая песнь”. Театр принял трагедию, увлёкся ею. Н. П. Охлопков прочёл и стал уговаривать меня отдать эту вещь “только ему”. Главрепетком запретил трагедию “за мрачность” и “искажение действительности”, Комитет по делам искусства заявил, что не согласен с запрещением, но просил меня “сделать трагедию повеселее”. Я ответила, что с созданием такого новаторского жанра, как “весёлая трагедия”, заведомо не справлюсь и положила её в стол. Она “отлежалась”, я её всё же доработаю, превратив в драматическую поэму. Она написана в результате нашей поездки в только что освобождённый Севастополь в <19>44 г<оду>, после ликвидации блокады, её тема — “великое доверие народа к Советской власти в период отчаянного положения” — то, о чём говорил Сталин в известном своём тосте.

В начале <19>49 г<ода> я взялась за поэму “Первороссийск”, задуманную и начатую даже ещё до войны. Юра в это время выпускал свою книгу о Радищеве, она выходила в Москве. (...)

Он нанял дачу, далеко от Ленинграда, на Карельском, утащил меня туда, мы жили там весь сентябрь. (...)

Там, в <19>49-м на даче, я всё же начала писать “Первороссийск”, вцепившись в него, как в спасательный круг. Писала запоем, меньше чем за год написала 2000 строк, не считая множества вариантов, вложила в поэму всё, во что свято верила и верю, что люблю бесконечно, чем жила и живу.

С июля <19>50 г<ода> началось прохождение поэмы по редколлегии и ответственным инстанциям; дельные советы, необходимые по совести переработки и доработки перемежались изнурительным отстаиванием того, в чём автор был убеждён и не хотел портить... Отняло это у меня столько нервов, что не сосчитать. Всё время при этом ощущала — уже потребность — в определённом допинге. Последний, 1951 год, несмотря на читательский большой успех “Первороссийска”, а затем получение Сталинской премии, был в отношении “допинга” самым тяжёлым. (...)

Может быть, всё это вышло по формуле Достоевского — “страданье есть — виновных нет”. (Ольга Берггольц. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. — Л.: Художественная литература, 1990. С. — 494—496)

Автобиография написана весной 1952 года по просьбе врача Психоневрологической больницы на 15-й линии Васильевского острова Якова Львовича Шрайберга. Именно он осознал её ценность и впоследствии передал в Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). В клинике Ольга лечилась от алкогольной зависимости.

С 1947 года, после получения денежной премии за пьесу “Они жили в Ленинграде”, в семью приходит достаток. Ольга обустраивает дом роскошными предметами мебели, даёт обеды для друзей с обилием деликатесов, без оглядки шикует, словно всё существующее — в последний раз. С Макогоненко возникает некоторая двусмысленность в отношениях. С одной стороны, он популярный преподаватель университета, молодой, красивый, аспирант и студентки вьются вокруг него толпой. С другой — уязвлённое самолюбие мужчины, его не устраивает роль всего лишь “мужа Берггольц”. И, конечно, тень Николая Молчанова незримо присутствует в их доме.

Александр Крон в своих воспоминаниях не обходит тему “допинга”: “За-столье в доме на улице Рубинштейна никогда не было пустой болтовнёй,

говорили о жизни и о литературе, было весело, и всё-таки, вспоминая наши встречи, я не могу отделиться от укоров совести, не думать о том, как мы, друзья, нежно любившие Ольгу, мало её берегли, как скоро мы привыкли к тому, что Оля – “свой парень”, и забывали, что она всё-таки женщина, при том многое пережившая, с незалеченными травмами, с необыкновенно тонкой, легко возбудимой нервной организацией, и не всегда понимали, что Ольга заметно отличается от нас, в большинстве своём здоровенных мужиков, своей незащищённостью. Ольга ни в чём не знала удержу и беречь себя не умела”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. С. – 176-177)

Изменяется и тональность дневниковых записей Ольги Берггольц. Они становятся... не унылыми, нет – усталыми! Возникает мания преследования.

“29 января 1948. Сижу и думаю над моей жизнью – и всё более странной, мучительно-странной кажется мне она. В сущности – она катастрофична: такое счастье, как две мои дочки, – и их страшная гибель. Коля – и страшная его гибель. Настоящая, народная, честнейшая, всей правдой и только правдой заработанная слава – и непрерывное ожидание кары за неё, удара сверху, это имеет основания и в общей судьбе искусства, и в том, что “наверху” не только, т<o> е<сть> не санкционировали эту славу, но демонстративно не признают её, – замалчивая меня в течение ряда лет или глупо ругая, не награждая, не выдвигая, – т<o> е<сть> не соблюдая элементарных традиций. Это бы – плёвое дело, если б за всем этим не стояла “угроза каторгой”. И я, как щедринский тип, который не известно за что сосчитан “злодеем”... трепещу ежемгновенно и пружестоко, – а почему, собственно?! За что этот вечный страх, отравляющий жизнь? Эти уши и глаза – всюду, всюду...” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 127)

7 ноября 1948 года умер отец её, Фёдор Христофорович.

В 1949 году начинается печально известное “ленинградское дело”, которое рикошетом затрагивает и Берггольц: книги о Ленинграде убирают с полок магазинов, разгоняют и закрывают Музей обороны и блокады Ленинграда, книга Берггольц “Говорит Ленинград” оказывается под запретом. Москва стремительно, одним махом решает уничтожить героику блокады, вытравить саму память о ней как о подвиге сотен тысяч жителей, рабочих, солдат. За изъятием книги в сталинское время обычно следовал арест. Ольга с Юрием Макогоненко решают уехать из Ленинграда на дачу.

“31 октября 1949. ...Ощущение погони не покидало меня. Шофёр, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, – а мне показалось – он ждёт “ту” машину, кот<орая> должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись: “Вот эта... Нет, проехала... Ну, значит, – эта?”

Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. “Эта”. Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась – идёт сзади. “Она”. Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это – луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой... Дорога идёт прямо, и она – всё время за нами. Я чуть не зарыдала в голос – от всего.” (Там же. С. 130)

В эти дни на рукописных тетрадках Ольгиных дневников появляются несколько сквозных дыр. Опасаясь возможного обыска, Макогоненко прибил их молотком к тыльной стороне скамейки.

На этот раз беда прошла мимо.

Весной 1952 года Ольга с группой писателей была направлена на строительство Волго-Донского канала, на завершающую его стадию. Канал возводили трудом пленных немцев, заключённых и малой части наёмных работников. После возвращения она записывает в дневнике: “Путь с Карповской в Сталинград, зимой после пуска станции: во вьюге свет машины выхватывал строителей, которых вели с торжества с автоматами наперевес... и окружали овчарки. В темноте, под вьюгой. Сидела в машине, закинув голову, и куда-то глубоко внутрь, как свинец, текли слёзы. За стёклами машины шёл мой народ, 90% из него были здесь ни за что... Чего они удивляются, что я запила после этого? Если б я была честным человеком, мне надо было бы повеситься или остаться там”. (Там же. С. 135)

После возвращения с Волго-Дона Ольга уходит в запой и попадает в психоневрологическую больницу. Вот он, последний бублик после двух калачей...

Стихи, вошедшие в цикл “Волго-Дон”, безусловно, написаны “эзоповым языком”, по-другому Ольга не могла, но в опубликованных строчках чуткие критики уловили “отсутствие пафоса радостного созидания”.

*И вздрогнул свет, чуть изменив оттенок...
Мы замерли — мотор уже включён!
За водосбросом, за бетонной стенкой
всхрапнул и вдруг пошевелился Дон.*

*И клочьями, вся в пене, ледяная,
всей силой человеческой сильна,
с высокой башни ринулась донская —
в дорогу к Волге — первая волна.*

*...Я испытала многие невзгоды.
Судьбе прощаю всё, а не одну —
за ночь,
когда я приняла с народом
от Дона к Волге первую волну...*

(Там же. С. 136)

И уже в психиатрической клинике беспощадные к самой себе и своей стране слова: “. . . А внутри всё голосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро всё, что заставило меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и незаживающую рану тюрьмы, и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке (уже знала об его пошлейшей измене в 1949 году, и очень это болело), — и вот всё так и остаётся кругом, и вы думаете, что если я месяц поблую, то всё это во мне перестанет болеть и требовать забвения? Ну, куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живём, которой не видно никакого конца? Как же мне перестать реагировать на неё? Кем же мне стать? Ничего, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхождения с обществом, — конкретно, с “лечащими” меня людьми, — сестрой, приятелями, частично с мужем, — это “лечение” мне не принесло. И ещё — глубокую грусть: оттого, что никак не объяснить им, что лечить меня от алкоголизма — не надо. Не объяснить по странной стыдливости и потому, что всё равно не поверят и не поймут. Хотя я и пыталась. Муська, очень любящая меня, кричала: “Я не могу для тебя изменить государственную систему”. А в ней-то главное дело и было. “Я хочу быть в мире с моей страной”, — и было почти невозможно. Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире, — хотя бы, не закрывая глаз на Волго-Дон, пытаюсь писать о том свете, который в нём заключался, — о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна и физически и духовно (о, особенно духовно!) была такой, и не только мирясь, но и славя её, я лгала и знала, что я лгу, и мне никогда было не уйти от сознания своей лживости, — даже в водку. И в водке это сознание достигало острейшего предела, пока не потухало сознание общее”. (Там же. С. 139)

Лечение не помогает.

“Последние события, — партколлегия, привлекающая якобы за “недостойное поведение” — за пьянство, с подъёмом всего <19>37–<19>39 г<о>д<о>в> “упаднического творчества” и т. д., с доносами . . . наконец, сентябрь <19>52 г<о>да>, когда я вошла в страшнейший запой, и этот звонок, анонимный, правда, когда мне сообщили, что у Юры любовница, и занесение меня в чёрные списки перед съездом, и Юрина декларация — “как женщина, ты мне давно противна, я себя искусственно настраивал (как будто бы я сама этого не замечала!). Хочешь вешаться — вешайся. Исключат — пусть исключают. Посадят — пусть сажают. Я на тебя насрал”.

Когда Ольга абсолютно теряет контроль над собой, ей на помощь приходит мать. О том, что творится у дочери дома, Мария Тимофеевна пишет Ирине Гурской: “3/XII <19>54 г<о>да>. Сейчас пришла от Ольги. Ирина дорогая, мне кажется, что и я заболеваю! Что творится! Прихожу к Ольге. Макогоненко дома нет. Вхожу в её комнату. Лежит она на постели и, свесив голову, шарит рукой около постели. И спрашивает домработницу слабым пьяным голосом: “Зина,

а моё тут стоит? — Да, да стоит около вас”, — отвечает домработница. Я подхожу и вижу: стоит большая бутылка коньяку, в бутылке уже немного. Это уход за ней дома такой. Чтобы она не ушла. Так две домработницы и говорят: “Хозяин уходит, только так её и успокаиваем”. Я знаю много случаев, что так делалось и по его распоряжению. . . Ведь её запой — это не распутство, а тяжкая болезнь, и без врачебной помощи она погибнет”.

С 1952 года попадание в больницу после тяжелейшего запоя, когда уже нет сил самостоятельно из него выбраться, становится регулярной историей. Ольга разрушается нравственно и физически. Алкоголь давал ей ощущение свободы, возможность паясничать и в лицо говорить всем самую неудобную правду, поносить начальство и партию. Её пьяные выходки были на слуху всей литературной общественности Советского Союза. Одну из таких выходок вспоминал Даниил Гранин, когда к нему пришла бумага из КГБ с требованием исключить Берггольц из партии: “Бумага была письмом из Комитета госбезопасности. Группа сотрудников сообщала, что они из своего дома отдыха поехали на экскурсию в Дом творчества писателей в Малеевке. Приехали. На ступенях подъезда стояла Ольга Берггольц, узнав, что они из КГБ, она потребовала, чтобы они убирались вон: “Вы нас пытали, мучили, а теперь ездите к нам в гости, катитесь вы. . .” И далее следовали с её стороны нецензурная брань, оскорбления. Это была не просто пьяная выходка, заявили они, это политический выпад, недопустимая клевета на органы. . . в заключение они требовали принять меры, считали, что такой человек не может быть членом партии, что это идёт вразрез. . .

— Так что надо будет вам её исключать из партии.

— Это как? Нам? — сказал я. — Почему нам?

Сознаюсь, это было самое глупое, глупее не придумаешь, но это было первое инстинктивное движение отпихнуться.

— Согласно уставу партии, — сказал Козлов.

Я пришёл в себя:

— Нет, мы не можем.

— Это почему?

— Потому что у нас её не исключат.

— Как так? Организовать надо. Мы обеспечим.

— Нет, не получится, — это я сказал уже уверенно — Нельзя её исключить.

— Что за персона, всех можно, а её нет? Не таких исключали.

Я любил Ольгу Фёдоровну, любил с первого дня, как увидел её, даже ещё до этого, я полюбил её и продолжал настаивать на своём: “Она символ, символ блокады, нельзя блокаду лишать символа”. Слово это, тупо повторяемое, как ни странно, озадачило. . . Ольга поставила на вид”. (Гранин Д. Причуды моей памяти. — СПб, 2011. — С. 99)

Трещит по швам брак с Макогоненко. С 1952 года всё катится в пропасть, набирая скорость с каждым прожитым годом. Макогоненко изменяет, Ольга прощает и снова сходит с ума от ревности. Пьёт запоями. Лечится. Снова пьёт. Наконец, в 1959 году он окончательно от неё уходит: от другой женщины у него рождается дочка. Другая женщина дарит ему радость отцовства — то, что Ольга была подарить не в силах. Это был конец, окончательный разрыв. А расставшись с мужем, мысленно Берггольц возвращается к Николаю Молчанову, убеждая саму себя, что её тогдашняя измена в 1941 году стала (неявно, но на высшем, небесном уровне) причиной его гибели.

После разрыва с Макогоненко Ольга редко появляется на людях, запирается в своей маленькой комнате, как в скорлупе. Мало пишет. Уходят в иной мир лучшие друзья.

В 1974 году Лев Левин и Александр Крон навещают Берггольц в её квартире. Вот как вспоминает эту последнюю встречу Левин: “Я не видел Ольгу около четырёх лет. Она катастрофически переменялась. Передо мной лежала старая женщина, почти ничем не напоминающая прежнюю Ольгу. Разве только смеялась она ещё по-прежнему.

Мы с Кроном незаметно переглянулись. По выражению его лица я понял, что он думает о том же самом. (. . .)

После нескольких глотков коньяка Ольга оживилась, на лице появился слабый румянец. Она едко иронизировала по поводу некоторых наших общих знакомых. На мгновение возникла прежняя Ольга — умная, злая, острая на язык. (. . .)

На прощание Ольга подарила каждому из нас свою пластинку, недавно выпущенную фирмой “Мелодия”.

Придя в гостиницу, я прочитал надпись: “Другу юности, зрелости и нынешних лет”.

“Нынешних лет”, – невольно повторил я. Употреблять более уместное в данном случае слово “Старость” Ольга не захотела.

С одной стороны бумажного футляра, в который была упакована пластинка, на меня смотрела Ольга времён нашей юности и зрелости – золотоволосая, с умным и весёлым взглядом, с неповторимой, единственной на свете золотисто-льняной прядкой, падающей на высокий и чистый лоб.

Такой запечатлел её в 1950 году Натан Альтман.

Такой я помню и буду помнить её до конца моих дней.

Ольгу “нынешних лет”, лежавшую в январе 1974 года в своей квартире на Чёрной речке, я всячески стараюсь забыть”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С.90-91)

Она умерла 13 января 1975 года, ей было шестьдесят пять лет. Похоронили её на Волковом кладбище, рядом с писателями Петербурга – Ленинграда, хотя сама Берггольц просила похоронить её на Пискаревке.

Город выбрал её – одну из сотен тысяч, вознёс на вершину народной любви, отобрал самого любимого и дорогого человека. И одно из своих последних стихотворений Ольга посвятила Ленинграду:

*Теперь уж навеки,
теперь до конца
незыблемо наше единство.
Я мужа тебе отдала, и отца,
и радость свою — материнство.*

*И нет мне дороже награды,
чем в годы военной угрозы
моих благодарных сограждан
скупые и светлые слёзы...*